

Литрес ≡ Классика

Юрий Тынянов

СМЕРТЬ
ВАЗИР-МУХТАРА



Юрий Николаевич Тынянов

Смерть Вазир-Мухтара

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73986127
Смерть Вазир-Мухтара: Литрес Классика; Москва; 2026

Аннотация

Юрий Николаевич Тынянов во всех своих произведениях умеет передать живое ощущение описываемой им эпохи. «Смерть Вазир-Мухтара» – один из самых известных романов Юрия Тынянова. В нем он рассказал о последнем годе жизни великого писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова, о его трагической гибели в Персии, куда он был отправлен в качестве посла.

Содержание

Глава первая	12
1	12
2	22
3	27
4	37
5	39
6	48
7	49
Глава вторая	56
1	57
2	66
3	72
4	74
5	86
6	95
7	97
8	106
9	116
10	120
11	122
12	130
13	132
14	139

15	141
16	150
17	153
18	155
19	157
20	160
21	169
22	176
23	177
Конец ознакомительного фрагмента.	183

Юрий Тынянов

Смерть Вазир-Мухтара

*Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем бывлых страстей
Еще заметен след!*

*Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.*

Евгений Баратынский

ЛитРес

библиотека



На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось; раздался хруст костей у Михайловского манежа – восставшие бежали по телам товарищей – это пытали время, был «большой застенок» (так говорили в эпоху Петра).

Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга.

Тогда начали мерить числом и мерой, судить порхающих отцов; отцы были осуждены на казнь и бесславную жизнь.

Случайный путешественник-француз, пораженный устройством русского механизма, писал о нем: «империя каталогов», и добавлял: «блестящих».

Отцы пригнулись, дети зашевелились, отцы стали бояться детей, уважать их, стали заискивать. У них были по ночам угрызения, тяжелые всхлипы. Они называли это «совестью» и «воспоминанием».

И были пустоты.

За пустотами мало кто разглядел, что кровь отлила от порхающих, как шпага ломких, отцов, что кровь века переместилась.

Дети были моложе отцов всего на два, на три года. Руками рабов и завоеванных пленных, суется, дорожась (но не прыгая), они завинтили пустой Бенкендорфов механизм и пустили винт фабрикой и заводом. В тридцатых годах запахло Америкой, ост-индским дымом.

Дуло два ветра: на восток и на запад, и оба несли с собою: соль и смерть отцам и деньги – детям.

Чем была политика для отцов?

«Что такое тайное общество? Мы ходили в Париже к девочкам, здесь пойдём на *Медведя*» – так говорил декабрист Лунин.

Он не был легкомыслен, он дразнил потом Николая из Сибири письмами и проектами, написанными издевательски ясным почерком; тростью он дразнил медведя – он был легок.

Бунт и женщины были сладострастием стихов и даже слов обыденного разговора. Отсюда же шла и смерть, от бунта и женщин.

Людей, умиравших раньше своего века, смерть застигала внезапно, как любовь, как дождь.

«Он схватил за руку испуганного доктора и просил настоятельно помощи, громко требуя и крича на него: „Да понимаешь ли, мой друг, что я жить хочу, жить хочу!“

Так умирал Ермолов, законсервированный Николаем в банку полководец двадцатых годов.

И врач, сдавленный его рукой, упал в обморок.

Они узнавали друг друга потом в толпе тридцатых годов, люди двадцатых, – у них был такой «масонский знак», взгляд такой и в особенности усмешка, которой другие не понимали. Усмешка была почти детская.

Кругом они слышали другие слова, они всеми силами билась над таким словом, как «камер-юнкер» или «аренда», и тоже их не понимали. Они жизнью расплачивались иногда за незнакомство со словарем своих детей и младших братьев.

Легко умирать за «девчонок» или за «тайное общество», за «камер-юнкера» лечь тяжелее.

Людам двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их.

У них было в тридцатых годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы.

Что дружба? Что любовь?

Дружбу они обронули где-то в предыдущем десятилетии, и от нее осталась только привычка писать письма да ходатайствовать за виноватых друзей – кстати, тогда виноватых было много. Они писали друг другу длинные сентиментальные письма и обманывали друг друга, как раньше обманывали женщин.

Над женщинами в двадцатых годах шутили и вовсе не делали тайн из любви. Иногда только дрались или умирали с таким видом, как будто говорили: «Завтра побывать у Истоминой». Был такой термин у эпохи: «сердца раны». Кстати, он вовсе не препятствовал бракам по расчету.

В тридцатых годах поэты стали писать глупым красавицам. У женщин появились пышные подвязки. Разврат с девчонками двадцатых годов оказался добросовестным и ребяческим, тайные общества показались «сотней прапорщиков».

Благо было тем, кто псами лег в двадцатые годы, молоды-

ми и гордыми псами, со звонкими рыжими собаками!

Как страшна была жизнь *превращаемых*, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь!

Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут.

Время бродило.

Всегда в крови бродит время, у каждого периода есть свой вид брожения.

Было в двадцатых годах винное брожение – Пушкин.

Грибоедов был уксусным брожением.

А там – с Лермонтова идет по слову и крови гнилостное брожение, как звон гитары.

Запах самых тонких духов закрепляется на разложении, на отбросе (амбра – отброс морского животного), и самый тонкий запах ближе всего к вони.

Вот – уже в наши дни поэты забыли даже о духах и продают самые отбросы за благоухание.

В этот день я отодвинул рукой запах духов и отбросов. Старый азиатский уксус лежит в моих венах, и кровь пробирается медленно, как бы сквозь пустоты разоренных империй.

Человек небольшого роста, желтый и чопорный, занимает мое воображение.

Он лежит неподвижно, глаза его блестят со сна.

Он протянул руку за очками, к столику.

Он не думает, не говорит.

Еще ничего не решено.

Глава первая

*Шаруль бело из кана ла садък¹.
Грибоедов. Письмо к Булгарину*

1

Еще ничего не было решено.

Он вытянулся на руках, подался корпусом вперед; от этого нос и губы у него вытянулись гусем.

Странное дело! На юношеской постели, как бы помимо его воли, вернулись разные привычки. Именно по утрам он так потягивался, прислушивался к отчему дому: встала ли маменька? язвит ли уже папеньку? По ошибке влетела догадка: не войдет ли сейчас дядя, опираясь на палку, будить его, ворошить на постели, звать с собою по гостям.

Чего он хлопотал с этой своей палкой?

И он воровато прикрыл ресницы, слегка шмыгнул носом под одеялом.

Конечно, тотчас же опомнился.

Протянул желтую руку к столику, пристроил на нос очки.

Он спал прекрасно: ему хорошо спалось только на новом

¹ Величайшее несчастье, когда нет истинного друга. Стих арабского поэта иль-Мутанаббия (915–965). Источник указан академиком И. Ю. Крачковским.

месте. Отчий дом оказался сегодня новым местом, он превосходно провел ночь, как на покойном постоялом дворе, зато поутру как бы угорел от тайного запаха, которым недаром полны отчие дома.

Алексей Федорович Грибоедов, дядя с палкой, умер пять лет назад. Его и зарыли здесь, на Москве.

Войти он, стало быть, не мог.

Скончался в свое время и папенька.

Но все же раздавались отчие звуки.

Часы перекликались из комнаты в комнату, как петухи, через деревянные стены. У татапа в будуаре маятник всегда ходил как бешеный.

Затем шваркающий звук, и кто-то плевал.

Значение звука он долго не мог определить.

Потом затаенный смех (несомненно, женский), шварканье приостановлено и наконец с новой силой вновь началось. Кто-то вполголоса зашикал из дверей, трюхнул жидкий, дрянненький колокольчик – это, безо всякого сомнения, из маменькина будуара. И стало понятно значение шварканья и плеванья, а также смеха: Александр чистил его сапоги, плевал и толкал под бок маменькину девку.

Александр вообще проявлял в доме за этот последний приезд необыкновенную наглость: он налетел, как персидский разбойник, на господский дом, взял его приступом, он говорил: «мы», брови у него разлетались, ноздри раздувались, белесые глаза стали глупыми. Он был даже величе-

ствен.

Так, он вздумал, что «Александр Сергеевич не могут, чтобы ему чистить платье в людской», ночевал наверху – и вот теперь тискал девушку.

Все же Александр Сергеевич улыбнулся, потому что любил Александра. Александр напоминал лягушку.

Маменька опять трюхнула колокольцем, оберегала его покой от Сашки, а сама ведь тем будила его, несносно.

Тогда, как бы из озорства, из желания передразнить ненавистный маменькин звук, он протянул руку и тоже трюхнул в колокольчик. Звук получился столь же мерзкий, как и у маменьки, но более громкий. И трюхнул еще раз.

Вошел крадучись, извиваясь змеем, шаркая туфлями, Александр. Походка его напоминала походку дервиша в «Страстях Алиевых». На вытянутых руках он нес платье, как жертву божеству, как его уже был смазан квасом и завит. Удивительно глупая улыбка явилась перед Грибоедовым. Он с удовольствием смотрел, как складывал Александр тонкое черное платье на табурет и обрядовым жестом сложил вровень обе штрипки от брюк.

Так они и молчали обыкновенно, любуясь друг другом.

– Подай кофе.

– Каву-с? Мигом, – щеголяя персидским словом, Сашка составил в ряд длинные острые носы штиблет.

(«Тоже, кафечи. Нашел дурак, перед кем хвастать».)

– Карету от извозчика заказал?

– Ждет-с.

Александр, кланяясь носом на каждом шагу, пошел вон.

Как затравленный, унылый зверь, Грибоедов смотрел на свое черное платье.

У самого борта сюртука он заметил пылинку, снял ее и покраснел. Он не хотел думать о том, что вскоре здесь засияет алмазная звезда, и между тем даже со всею живостью представлял ее как раз на том месте, где стер пыль.

Кофе.

Быстро он оделся, с отчаянностью решился, прошел к маменькину будуару и стукнул как деревянным пальцем в деревянную дверь.

– Entrez?²

Изумление было фальшиво, повышение было взято в вопросе на терцию выше, чем следовало бы, голос тапан был сладостным dolce³ в его нынешний приезд, медовым dolce.

Склонив покорные длинные ресницы, он прошел сразу же через много запахов: пахли патки с одеколоною, серные частицы, можжевеловые порошки.

Маменька сидела со взбитыми на висках жидкими патками, не седыми, а бесцветными.

Она в лорнет, прищурясь, смотрела на Александра. Взгляд был слегка плотояден. Чин статского советника был обещан Александру.

² Войдите? (*фр.*).

³ Нежно (*ит.*, муз. термин).

– Как вы спали, мой сын? Ваш Сашка второе утро всех будит.

Второе утро он хотел удрать из дому. На этот раз он решился, и, по-видимому, предстояло объясниться. Удирал он в Петербург, собственно даже не удирал – он вез Туркменчайский мир в Петербург и мог только проездом остановиться дня на два в Москве, но маменька надулась вчера, когда Александр сказал, что утром едет, – он мог бы еще задержаться на день в Москве. Он и задержался. Она смотрела на сына в этот раз по-особому.

Настасья Федоровна прожилась.

Была ли она мотовкой? Она была жадна. Все же деньги плыли сквозь пальцы, сыпались песком – и опять начинали трещать углы, обсыпаться дом; в самом воздухе стояло разорение; все вещи были налицо, но дом пустел.

Настасья Федоровна была умна, хозяйка, мать – куда девались деньги? Самый воздух грибоедовского дома как бы ел их. Уже мужики были высосаны до последней крайности. Пять лет назад они подняли бунт, восстание, и их усмиряли оружием. Все же, несмотря на победу, губернатор заезжал, пил чай и предупреждал, что желательно не иметь более восстаний.

Александр прекрасно понимал значение голоса и лорнета. Медовое legato⁴ было приглашением поговорить. Александр заговорил. С некоторым презрением он слышал в своей речи

⁴ Связно, плавно (*ит.*, муз. термин).

излишек выразительности, он как бы заразился ее речью.

Все это, разумеется, должно было кончиться скандалом и сорваться; и мать и сын, зная это, оттягивали.

Мать не знала, чего хочет сын. Он мог остаться на Москве, мог служить в Петербурге, а то и получить назначение в ту же Персию. Перед ним, разумеется, нынче все открыто: таким дипломатом он показал себя. Мать списалась уже с Паскевичем, женатым на племяннице, у которого служил Александр; Паскевич, чувствительный к тому, чтоб его окружали обязанные родственники, выдвигал Александра. Он посоветовал Настасье Федоровне брать Персию.

Так решали за его спиной, как за маленького; хуже всего, что он знал об этом. Мать догадывалась: как только она заговорит о Персии, Александр станет перечить, между тем он, может быть, и сам хочет Персию.

Персия была выгодна в первую голову деньгами, и чином, и начальством Паскевича; в Москве, тем паче в Петербурге, дело другое и служба другая. Ни Персия, ни Петербург не были ясны для Настасьи Федоровны – это были места, куда годами проваливался Александр; как бы уехал на службу и не возвращался не четыре часа, а четыре года. Собственно, она не говорила даже: «Александр в Персии» или «на Кавказе», но: «Саша в миссии». Миссия – была учреждение, и так было покойнее, устойчивее. Она понимала только Москву и все же не хотела, чтобы Саша оставался в Москве.

– Ты сегодня дома обедаешь?

– Нет, татап, я приглашен.

Он не был приглашен, но не мог себя принудить обедать дома. Обеды были, признаться, дурные.

Настасья Федоровна шаловливо посмотрела в лорнет.

– Опять кулисы и опять актрисы?

Его мать, говорящая о его женщинах, была оскорбительна.

– У меня дела, матушка. Вы всё меня двадцатилетним считаете.

– В Петербург, вижу, не так уж торопишься.

– Напротив, завтра же утром и выезжаю.

Она любовалась им в лорнет.

– Где же твой Лев и твое Солнце? Александр осторожно усмехнулся.

– Лев и Солнце, маменька, уже давно покоятся у ростовщика в Тифлисе. У меня был долг. Сослуживцу задолжать избави боже.

Она отвела лорнет.

– Уже?

Заложенный орден давал ей превосходство. Разговор был неминуем.

– Сборы твои не слишком скоры?

Она суетливо взбила патку на левом виске.

– Нет. Я, собственно, не имею права долее одного дня медлить. Я и так задержался. Дело не шуточное.

– Я не об этих сборах говорю, я говорю о том, что ты со-

бираешься делать.

Он пожал плечами, взглянул себе под ноги:

– Я, право, не подумал еще.

И поднял на нее совсем чужое, не Сашино лицо: немолодое, с облезшими по вискам волосами и пронзительным взглядом.

– Это зависит от одного проекта...

Она забилась испуганно прозрачными завитушками на лбу и снизила совершенно голос, как сообщник:

– Какого проекта, мой сын?

– ...о котором, тапан, рано говорить...

Казалось бы, победил. А вот и нет, начиналась патетика, которая была горше всего.

– Alexandre, я вас умоляю, – она сложила ладони, – подумайте о том, что мы на краю... – Глаза ее стали красноваты, и голос задрожал, она не закончила.

Потом она обмахнула платочком красные глаза и высморкалась.

– И Jean, – сказала она совершенно спокойно о Паскевиче, – мне писал: в Персию. В Персию, да и только.

Последние слова она произнесла убежденно.

– Впрочем, я не знаю: может быть, ты, Саша, рассудил даже заняться здесь журналами?

Очень мирно, но, боже, что за legato! И Jean, и Персия, и все решительная дичь: не хочет он в Персию, и не поедет он в Персию.

– Я сказал Ивану Федоровичу, что прошу представить меня только к денежному награждению. Я все предвидел, маменька.

Опять посмотрел на нее дипломатом, статским советником, восточным царьком.

– Я же, собственно, расположен к кабинетной жизни. А, прочем, увижу...

Встал он совершенно независимо:

– Я пойду. Домой я сегодня буду поздно.

Перед самым порогом спасения Настасья Федоровна оставила его, прищурясь:

– Ты возьмешь каретку?

Он был готов ездить решительно на всем: на дрожках гитарой, на щеголеватом купеческом калибре, но только не в семейственной каретке.

– За мною прислал карету Степан Никитич, – он солгал.

– А.

И он спасся к парадным сеням, через первую гостиную – светло-бирюзовую и вторую гостиную – голубую, любимые цвета Настасьи Федоровны. В простенках были зеркала, а также подстольники с бронзой и очень тонким, вследствие сего вечно пыльным, фарфором; но и простым глазом было видно, что люстры бумажные, под бронзу. Чахлую мебель покрывали чехлы, которые здесь были со дня, как помнил себя Александр. В диванной он помедлил. Его остановил трельяж, обвитый плющом по обе стороны дивана, и две горки

а 1а помпадур.

Глупей и новей нельзя было ничего и представить, новые приобретения разорвавшейся Настасьи Федоровны.

И карсель на одном столе, чистой бронзы.

Он постоял в углу у двери, перед столбом, который вился жгутом, столбом красного дерева, который загибался кверху крючком и этим крючком держал висящий фонарь с расписными стеклами.

Все было неудавшаяся Азия, разорение и обман.

Не хватало, чтобы стены и потолок были оклеены разноцветными зеркальными кусочками, как в Персии. Так было бы пестрее.

Это был его дом, его Heim⁵, его детство. И как он все это любил.

Он устремился в сени, накинул плащ, выбежал из дому, упал в карету.

⁵ Домашний очаг (нем.).

2

Озираясь с некоторым любопытством, он получил впечатление, что движение совершается кругообразно и без цели.

Одни и те же русские мужики шли по мостовой – взад и вперед.

Щеголь пронесся на дрожках от Новинской площади, и сряду такой же в противоположную сторону. Впрочем, он понял, в чем здесь дело: оба щеголя были в эриванках.

Не успели еще взять Эривани, как московские патриоты выражали уже свою суетность, напялив на головы эти круглые эриванки.

Нет, для Москвы, любезного отечества, не стоило драться на Закавказье, делать Кавказ кладбищем и гостиницей.

Пересек Тверскую, поехал по Садовой. Подозрительно грязны и узки были переулки, вливавшиеся в главные улицы. Карета свернула. Точно в Тебризе, где рядом с главной улицей грязь первозданная, а мальчишки ищут друг у друга вшей. Торчали колокольни. Они походили на минареты.

Он поймал себя на азиатских сравнениях, это была лень ума.

Все эти безостановочные дни, что он в какой-то лихорадке стяжания торговался с персами из-за каждого клока земли в договоре, что он мчался сюда с этим договором, имевшим уже свою кличку: Туркменчайский, – чтобы везти его

сразу же, без промедления, в Петербург, – он двигался по всем направлениям, расточал любезность, ловкость, он хитрил, скрывал, был умен и даже не задумывался над этим всем, так уж шло.

Нынче же, под самым Петербургом, он осел; Москва его наспех проглотила и как бы забыла. Он начинал за эти два дня бояться, томиться, что не довезет мира до Петербурга, – боязнь детская и неосновательная.

Стоял печальный месяц март. Снег московский, внезапное солнце, а то и тень, скука – в два дня – дома, на улицах еще скучнее – не давали сосредоточиться. Все это было вроде арабесков, как он их созерцал в бессонные ночи под Аббас-Абадом, во время переговоров, что идешь, идешь за линией, натыкаешься на препону, и путаница. Как сильно действовала на него хорошая и дурная погода: на солнце он был мальчиком, в тени стариком.

Страшно подумать: рассеянность и холод коснулись даже проекта; он не был больше уверен в нем, даже напротив, проект, без сомнения, поскользнется... Прохожий франт поскользнулся, долго брыкал и потом оглядывался, не смеются ли.

Он и выезжал теперь с этой жаждой, с этим тайным намерением: выловить где-то на улицах решение.

Он растерял свои годы по столбовым дорогам, изъездил их – и вот теперь ловил свою молодость по переулкам.

Так обессиливала его Москва.

В последний день он решил объехать знакомых. Решения он на улицах не находил никакого. Просто был март: то солнце, то тень, много прохожих русских мужиков, толкущихся на одном месте. У них были одинаковые лица – все те же, что шли вперед, возвращались назад. Гнались друг за другом русские мальчишки со здоровым, беспричинным ревом.

И одна за другой плелись кареты, дрожки. Может быть, каждая отдельно и шла быстро, даже мчалась, но все вместе они плелись. Лошадь задрала голову из цепи.

У него промелькнула безобразная фраза: «Лошади здесь сродни черным мулам», – фраза для азиатского Олеария.

Никто на него не обращал внимания.

С огорчением он заметил, что это именно уязвляло его. Он отлично знал, что главная встреча предстоит в Петербурге, да и в Москве его встретили торжественно. Все же ему было неприятно, что, проскакав месяц, везя в своих бумагах достославный, пресловутый Туркменчайский мир, в этот день он был оставлен в Москве на самого себя.

Это было ребячеством.

Щеголи в крылатках, в эриванках, воздушные, как бабочки, казались существами из особого мира. Все нынче на Москве было заражено легкостью, бойкостью. Очень все молодцеваты стали. И ненадежны. Казалось, что дрожки с пролетным франтом сейчас полетят по воздуху, оставив внизу салопницу и мужика, несущего на голове бочонок сельдей и, как тяжким маятником, качающего рукой.

Но франта теснили лошадиные морды, и из толпы упорно выплывал все тот же мужик, с механической грацией качавший туловищем и рукою.

Он нес на голове бочонок и поэтому балансировал, как балерина.

Даже у московских мужиков за два года, что он не был в Москве, исчезла медвежеватость, даже салопницы были охвачены движением – те же самые шли вперед и возвращались назад.

Так ему казалось, он был близорук.

Навстречу медленно, как во сне, равнодушно, как на театре, проплыл мужик, в санях не по времени. Ехал он по Садовой, как по деревне.

Он плыл с открытым ртом, не думая, не чувствуя, с неопределенной сосредоточенностью глядя вперед. А рядом в дрожках ехал Макниль.

Он испугался, как это просто он рядом с мужиком отметил доктора Макниля.

Все совершается непоследовательно, но просто: по улице едет мужик, и почти рядом с ним англичанин, главный доктор тебризской миссии, Макниль.

Он жадно посмотрел в ту сторону, но Макниля не было, а был толстый полковник с собачьими баками.

Однако как он сюда попал? Если Макниль поехал в Россию, он должен бы об этом знать. Впрочем, доктор, может быть, действовал прямо через Паскевича. Однако Паскевич

должен бы и в этом случае его предупредить.

Хотя, что же в этом он находит особого?

И, может быть, это вовсе не Макниль.

Он пожал плечами с неудовольствием. Лицо англичанина так ему примелькалось в Тебризе, что он родную мать вскоре за него примет. Он снял очки и сердито протер их кружевным платком. Глаза без очков смотрели в разные стороны.

Кучер остановил карету на Пречистенке, у Пожарного депо.

3

Уже самый дом несколько поражал своей наружностью, он вдвигался в сад. Корпус был приземист, окна темноваты, парадная дверь тяжела и низка. Здесь жил теперь отставной Ермолов.

Дверь глядела исподлобья, подавалась туго и готова была каждого гостя вытолкнуть обратно, да еще и прихлопнуть. Особенно его.

Тот любезный, искательный Ермолов, который при Александре владел Кавказом, замышлял войны, писал нотации императору, грубиянствовал с Нессельродом, более не существовал, не должен был, по крайней мере. Каков же был теперешний, в этом доме?

Отношения с Ермоловым за два последних года были мучительны. Вернее, их не было. Они избегали друг друга.

Когда Николай взял приступом дворец, он почувствовал себя сиротливо, выскочкой – parvenue. Тогда стали рыться в разговорах и нумеровать шепоты. Оказалось, между прочим, что на Кавказе сидело косматое чудище – проконсул Кавказа, хрипело, читало нотации и т. д. Показалось, что он хочет отложиться, отпасть от империи, учредить Восточное государство. Ждали, что он после декабря пойдет на Петербург. Его окружали подозрительные люди. Он вел свою линию на Востоке, следовало его убрать.

Вскоре началась война с Персией. Старик попробовал буркнуть на Петербург, вмешивающийся в его военные дела. Но его время прошло, как и его дела.

Империи более не требовались тучность полководцев и быстрота поэтов.

К нему приставили дядькой Паскевича.

Паскевич умел подчиняться и любил подчиняющихся.

Он терпеливо доносил на Ермолова и объяснял Николаю, что лучше всего назначить главнокомандующим его и отрезать Ермолова.

Персидские дела пошли и того хуже. У персов был полководец горячий – Аббас-Мирза. Русские военачальники грызлись.

Вскоре на них обоих прислали еще старшего. Дибич был уже совсем крошкой, рыжая, пылкая, нечистоплотная фигурка.

Ермолов смотрел исподлобья, Паскевич ел глазами, Дибич косил в землю.

Он боялся, что над ним смеются.

Дибич написал императору, что нужно сместить и старика и молодого, а поставить человека средних лет.

Сам он, однако, от этого ничего не выиграл, вернулся во свояси. Выиграл Паскевич. Ермолова уволили, как были уже уволены двадцатые годы вообще.

Всех его помощников, после войны, тоже убрали на покой. Образовалась как бы ермоловская партия – недоволь-

ных генералов.

Бренча саблями или, если уж они были в отставке, просто дергая плечами, они хрипели вокруг низверженного монумента.

Они собирались в Москве к нему на Пречистенку, как тамплиеры в храм, как христиане в катакомбы. И монумент их благословлял.

Выбитый из оси, на которой он двигался тридцать восемь лет службы, он врос в землю. Он устанавливал одним примером из тактики превосходство Наполеона над Ганнибалом, одним русским словом уничтожал значение занесшегося николаевского выскочки. Тихо трепеща канителью эполет и волоча ноги, проходили перед ним генералы, опираясь по-отставному на палки.

Война кончилась; Аббас-Мирза, величайший азиатский полководец и дипломат, был сломлен. В Петербурге ждали Туркменчайского мира.

Генералы знали: война выиграна бездарно. Паскевича в деле и не видали, все сделали Вельяминов и Мадатов, а он только имя свое приложил. А потом надоносил, представил в ложном свете и обоих выгнал. Генералов в двадцатом веке называли бы пораженцами.

Но Грибоедов – он-то что же приложил свое имя к Паскевичу?

Здесь начинался неприятный провал, смутная область.

Было подозрительно, как вдруг стал блистателен стиль

Пас-кевича, который не знал грамоты: даже в партикулярной переписке вместо буки-азба у него появилась решительная красота и стройность. Кто-то ему помогал. Неужели Грибоедов?

Ведь Грибоедов, при первом известии о посылке дядьки, говорил генералам:

– Каков мой-то холуй? Как вы хотите, чтобы этот человек, которого хорошо знаю, торжествовал над нашим? Верьте, что наш его проведет, и этот, приехав впопыхах, уедет со срамом.

Грибоедов же был питомец старика. Питомец не сморгнул глазом, когда полководца уволили; остался цел и невредим, а потом вознесся.

И неужто причиной было ничтожное обстоятельство, что он был свойственник Паскевичу?

Один генерал сказал о нем со вздохом:

– Его замутил бес честолюбия. Господа, ему тридцать два года. Это, по Данту, середина жизни или около того. Это эра, когда в ту или иную сторону человека мутит.

Ермолов же тогда посмотрел, и на лице его не отразилось ничего.

Старый слуга равнодушно встретил пришедшего в сенях и проводил наверх, в кабинет хозяина.

Кабинет был невелик, с темно-зеленой мебелью. Наполеон висел на стенах во многих видах, всюду мелькали нахмуренные брови, сжатые крестом руки, треугольная шляпа,

плащ и шпага.

Слуга усадил Грибоедова и спокойно пошел вон.

– Они занимаются в переплетной, сейчас доложу. Что еще за переплетная?

Ждать пришлось долго. В этом не было ничего обидного, хозяин был занят. Всюду висел Наполеон. Серый цвет императорского сюртука был облачным, как дурная погода под Москвой, лицо его было устроено просто, как латинская проза.

До такой прозы Россия еще не дошла.

«Цезарь» было прозвище старика, но и в этом ошибались: он был похож скорее на Помпея и ростом, и статурию, и странную нерешительностью. До Цезаревой прозы ему не дойти. И даже до Наполеоновой отрывистой риторики.

На хозяйском кресле лежал брошенный носовой платок. Вероятно, не нужно было сюда заезжать.

Послышались очень покойные шаги, шлепали туфли; пол скрипел.

Ермолов появился на пороге. Он был в сером легком сюртуке, которые носили только летом купцы, в желтоватом жилете. Шаровары желтого цвета, стянутые книзу, вздувались у него на коленях.

Не было ни военного сюртука, ни сабли, ни подпиравшего шею простого красного ворота, был недостойный маскарад. Старика ошельмовали.

Грибоедов шагнул к нему, растерянно улыбнувшись. Ста-

рик остановился.

– Вы не узнаете меня, Алексей Петрович?

– Нет, узнаю, – сказал просто Ермолов и, вместо объятия, всунул Грибоедову красную, шершавую руку. Рука была влажная, недавно мыта.

Потом, так же просто обошедши гостя, он сел за стол, оперся на него и немного нагнулся вперед с видом: я слушаю.

Грибоедов сел в кресла и закинул ногу на ногу. Потом, слишком пристально глядя на него, как смотрят на мертвых, он заговорил.

– Скоро отправляюсь, и надолго. Вы мне оказали столько ласковостей, Алексей Петрович, что я сам себе не мог отказать, зашел по пути проститься.

Ермолов молчал.

– Вы обо мне думайте, как хотите, – я просто в несогласии сам с собой, боюсь, что вы сейчас вот ловите меня на какой-нибудь околичности – не выкланиваю ли вашего расположения. И вы поймите, Алексей Петрович: я проститься пришел.

Ермолов вынул тремя пальцами из тавлинки понюх желтоватого табаку и грубо затолкал в обе ноздри. Табак просыпался на подбородок, на жилет и на стол.

– Ласковостей я вам, Александр Сергеич, никаких не оказывал: этого слова в моем лексиконе даже нет; это вам кто-то другой ласковости оказывал. Просто видел, что вы служить рады, прислуживаться вам тошно, – вы же об этом и в коме-

дии писали, а я таких людей любил.

Ермолов говорил свободно, никакого принуждения в его речи не было.

– Нынче время другое и люди другие. И вы другой человек. Но как вы были в прежнее время опять же другим человеком, а я прежнее время больше люблю и уважаю, то и вас я частью люблю и уважаю.

Грибоедов вдруг усмехнулся.

– Похвала ваша не слишком заслуженна или, во всяком случае, предускоренна, Алексей Петрович. Я вас, как душу, любил и в этом хоть остался неизменен.

Ермолов собирался поднести к носу платок.

– Так вы, стало, и душу свою не любили.

Он высморкался залпом.

– И, стало, в душу заглядываете только по пути от Паскевича к Нессельроду.

Старик грубиянствовал и нарочно произносил: Паскевич. Он побарабанил пальцами.

– Сколько куруров отторговали от персиян? – спросил он с некоторым пренебрежением и, однако же, любопытством.

– Пятнадцать.

– Это много. Нельзя разорять побежденные народы. Грибоедов улыбнулся.

– Не вы ли, Алексей Петрович, говорили, что надо колеи глубже нарезать? Вы ведь персиян знаете – спросить с них пять куруров, так они и вовсе платить не станут.

– То колеи, а то «война или деньги». «Кошелек или жизнь».

«Война или деньги» была фраза Паскевича. Ермолов помолчал.

– Аббас-Мирза глуп, – сказал он, – позвал бы меня к себе в полководцы, не то было бы. Меня ж чуть в измене здесь не обвиняют, вот бы он, дурак, и воспользовался.

Грибоедов опять посмотрел на него, как на мертвого.

– Я не шучу, – старик сощурил глаз, – я план русской кампании получше и Аббаса, да уж и Паскевича, разработал.

– Ну и что же? – еле слышно спросил Грибоедов. Старик раскрыл папку и вынул карту. Карта была вдоль и поперек исчерчена.

– Смотрите, – поманил он пальцем Грибоедова, – Персия. Так? Табриз – та же Москва, большая деревня, только что глиняная. И опустошенная. Я бы на месте Аббаса в Табриз открыл дорогу, подослал бы к Паскевичу людей с просьбой, что, мол, они недовольны правительством и, боясь, дескать, наказания, просят поспешить освободить их... Так? Паскевич бы уши развесил... Так? А сам бы, – и он щелкнул пальцем в карту, – атаковал бы на Араксе переправу, ее уничтожил и насел бы на хвост армии...

Грибоедов смотрел на знакомую карту. Аракс был перечеркнут красными чернилами, молниеобразно.

– На хвост армии, – говорил, жуя губами, Ермолов, – и разорял бы транспорты с продовольствием.

И он черкнул шершавым пальцем по карте.

– В Азербиджане истреблять все средства существования, транспорты губить, заманить и отрезать...

Он перевел дух. Сидя за столом, он командовал персидской армией. Грибоедов не шелохнулся.

– И Паскевич единым махом превратился бы в Наполеона на Москве, только что без ума. А Дибич бы в Петербург, к Нессельроду...

Голова его села в плечи, а правая рука стала подавать в нос и сыпать на жилет, на грудь, на стол табак.

Потом он закрыл глаза, и все вдруг на нем заходило ходенем: нос, губы, плечи, живот. Ермолов спал. С ужасом Грибоедов смотрел на красную шею, поросшую мышьям мохом. Он снял очки и растерянно вытер глаза. Губы его дрожали.

Минута, две.

Никогда, никогда раньше этого не бывало... За год отставки...

– ...писал бы на него... письма, – закончил вдруг Ермолов, как ни в чем не бывало, – ...натуральным стилем. А то у Паскевича стиль не довольно натурален. Он ведь грамоте-то, Паскевич, тихо знает. Говорят, милый-любезный Грибоедов, ты ему правишь стиль?

Лобовая атака. Грибоедов выпрямился.

– Алексей Петрович, – сказал он медленно, – не уважая людей, негодуя на их притворство и суетность, черт ли мне в их мнении? И все-таки, если вы мне скажете, кто говорит,

я, хоть дурачеств не уважаю, буду с тем драться. Вы же для меня неприкосновенны, и не одной старостью.

– Ну, спасибо, – сказал Ермолов и недовольно улыбнулся, – я и сам не верю. Ну, хорошо, – он забежал глазами по Грибоедову, – бог с вами. Поезжайте.

Он встал и протянул ему руку.

– На прощанье вот вам два совета. Первый – не водитесь с англичанами. Второй – не служите вы за Паскевича, *rapport de zee*⁶. Он вас выжмет и бросит. Помните, что может назваться счастливым только тот, которому нечего бояться. Впрочем, прощайте. Без вражды и приязни.

Когда Грибоедов спускался по лестнице, у него было скупающее и рассеянное выражение лица, как бывало в Персии, после переговоров с Аббасом-Мирзой.

Ермолов провожал его до лестницы. Он смотрел ему вслед.

Грибоедов шел медленно.

И тяжелая дверь вытолкнула его.

⁶ Не очень-то усердствуйте (*фр.*).

*И с сердцем грудь полуразбитым
Дышала вдвое у меня,
И двум очам полужакрытым
Тяжел был свет двойного дня.*

Шевырев

Путешествие от Пречистенки до Новой Басманной по мерзлым лужам, конечно, было длинно, но ведь не длинней же пути от Тифлиса до Москвы.

И все-таки оно было длиннее.

Сашка сидел на козлах с надменным видом, как статуя. В этом полагал он высшую степень воспитания. Взгляды, которые он обращал на прохожих, были туманны. Кучер орал на встречных мужиков и похлестывал кнутом по их покорным клячам. В Тавризе хлещут кнутом по встречным прохожим, когда едет шах-заде (принц) или вазир-мухтар (посланник).

Маменькина Персия, будь она трижды проклята, немилая Азия, далась она ему. О нем говорят, что он подличает Паскевичу. И вот это нисколько не заняло его. Судьи кто? У него были замыслы. Ценою унижения надлежало добиться своего. *Paris vaut bien une messe*⁷. И ребячество возиться со старыми друзьями. Они скажут: Молчалин, они скажут: вот ку-

⁷ Париж стоит обедни (фр.).

да он метил, они его сделают смешным. Пусть попробуют.

Какая бедная жизнь, какие старые счета.

И, может быть, ничего этого не нужно.

В месяце марте в Москве в три часа нет ни света, ни тени.

Все неверно, все колеблется, нет ни одного принятого решения, и самые дома кажутся непрочными и продажными. В месяце марте в Москве нельзя искать по улицам твердого решения или утерянной молодости.

Все кажется неверным.

С одной стороны – едет по улице знаменитый человек, автор знаменитой комедии, восходящий дипломат, едет небрежно и независимо, везет знаменитый мир в Петербург, посетил Москву проездом, легко и свободно.

С другой стороны – улица имеет свой вид и вещественное существование, не обращает внимания на знаменитого человека. Знаменитая комедия не поставлена на театре и не напечатана. Ему не рады друзья, он человек оторвавшийся. Старшие обваливаются, как дома. И у знаменитого человека нет крова, нет своего угла, и есть только сердце, которое ходит маятником: то молодо, то старо.

Все неверно, все в Риме неверно, и город скоро погибнет, если найдет покупателя.

Сашка сидит неподвижно на козлах, с надменным видом.

Взгляды, которые он обращает на прохожих, – туманны.

Он остановил каретку в приходе Петра и Павла, у дома Левашовых.

Приятное убежище, должно быть.

В пустом саду было много дорожек и много флигелей, разбитых вокруг главного дома. Он попробовал ринуться к одной двери, но из окна выглянула весьма милая женская голова. Чаадаев же был отшельник, анахорет, совершенно лишенный вкуса к этой области. Он отступил и осмотрелся.

Флигели были расположены вокруг дома звездой, невинная затея. Он улыбнулся как старому знакомому и дернул первый попавшийся колокольчик. Открыл ему дверь аббат в черной сутане. Он быстро и вежливо указал флигель Чаадаева и спрятался. Зачем он сам здесь жил в Москве, бог один его знал.

Дом Левашовых был не простой дом. Он стоял в саду, был снабжен пятью или, может быть, шестью дворами, в каждом дворе флигель, в каждом флигеле по разным причинам проживающие лица: кто из дружбы, кто из милости, кто для удовольствия, кто по необходимости, кто без всякого резона, хозяевам было веселее. Чаадаев сюда переехал на житье по всем резонам сразу, а главное, потому, что денег не было.

Тот же камердинер Иван Яковлевич, в франтовском старомодном жабо, поклонился Грибоедову и пошел доложить.

За стеною Грибоедов услышал раздраженный шепот, кто-то шикал и покашливал. Он уже собирался сказать свинью Чаадаеву, как камердинер вернулся. Иван Яковлевич разводил руками и объявил бесстрастно, что Петр Яковлевич болен и не принимает. В ответ на это Грибоедов скинул к нему на руки плащ, бросил шляпу и двинулся в комнаты.

Не постучав, он вошел.

Перед столом с выражением ужаса стоял Чаадаев.

Он был в длинном, цвета московского пожара халате.

Тотчас же он сделал неуловимое сумасшедшее движение ускользнуть в соседнюю комнату. Бледно-голубые, белесые глаза прятались от Грибоедова. Было не до шуток, пора было все обращать в шутку.

Грибоедов шагнул к нему и схватил за рукав.

– Любезный друг, простите меня за варварское нашествие. Не торопитесь одеваться. Я не женщина.

Медленно совершалось превращение халата. Сначала он вис бурой тряпкой, потом складок стало меньше, он распрямился. Чаадаев улыбнулся. Лицо его было неестественной белизны, как у булочников или мумий. Он был высок, строен и вместе хрупок. Казалось, если притронуться к нему пальцем, он рассыплется. Наконец он тихо засмеялся.

– Я, право, не узнал вас, – сказал он и махнул рукой на кресла, – садитесь. Я не ждал вас. Говоря откровенно, я никого не принимаю.

– И тем больше не хотели меня. Я действительно несвято-

стью моего житья не приобрел себе права продолжать дружбу с пустынниками.

Чаадаев сморщился.

– Не в том дело, дело в том, что я болен.

– Да, вы бледны, – сказал рассеянно Грибоедов. – Воздух здесь несвеж.

Чаадаев откинулся в креслах.

– Вы находите? – спросил он медленно.

– Редко проветриваете. Впрочем, я, может быть, отвык от жилья.

– Не то, – протянул Чаадаев, задыхаясь, – я, что же, по-вашему, бледен?

– Слегка, – удивился Грибоедов.

– Я страшно болен, – сказал упавшим голосом Чаадаев.

– Чем же?

– У меня обнаружили рюматизмы в голове. Вы на язык взгляните, – и он высунул гостью язык.

– Язык хорош, – рассмеялся Грибоедов.

– Язык-то, может быть, хорош, – подозрительно поглядел на него Чаадаев, – но главное, это слабость желудка и вертижи. Всякий день встаю с надеждой, – ложусь без надежды. Главное, разумеется, диета и правильная жизнь. Вы по какой системе лечитесь?

– Я? По системе скакания на перекладных. То же и вам советую. Если вы чем и больны, так гипохондрией. А начнете подпрыгивать да биться с передка на задок, у вас от этого

противоположного движения пройдут вертижи.

– Гипохондриа-то у меня прошла, у меня... – протянул Чаадаев и вдруг всмотрелся в гостя. Он опять засмеялся.

– Все это глупости, любезный Грибоедов, я вас мучаю такими мизерами, что, право, смешно и глупо. Вы откуда и куда?

– Я? – удивился слегка Грибоедов. – Я из Персии и везу в Петербург Туркменчайский мир.

– Какой это мир? – легко спросил Чаадаев.

– Мир? Но Туркменчайский же. Неужели вы о нем не слышали?

– Нет, я ведь никого не принимаю, только аббе Барраль ко мне иногда заходит. Газет я не читаю.

– Вы, чего доброго, не знаете, пожалуй, что у нас война с Персией? – спросил чем-то довольный Грибоедов.

– Но ведь у нас, кажется, война с Турцией, – сказал равнодушно Чаадаев.

Грибоедов посмотрел на него серьезно:

– Это начинается с Турцией, а была с Персией, Петр Яковлевич.

– Бог с ним, с этим миром, – сказал надменно Чаадаев. – Вы-то, вы что за это время делали? Ведь мы с вами не видались три года... или больше.

– Я сел на лошадь, пустился в Иран, секретарь бродящей миссии. По семьдесят верст каждый день, по два, по три месяца сряду. Промежутки отдохновения бесследны. Так и не

нахожу себя самого.

– Вот как, – сказал, с интересом всматриваясь в него, Чаадаев, – но ведь это болезнь, это называется боязнь пространства, агорафобия. Вы скачете по большому пространству и оттого...

– Положим, однако, что я еще не совсем с ума сошел, – сказал Грибоедов, – различаю людей и предметы, между которыми движусь.

Чаадаев отодвинул рукой его слова.

– Вот и я тоже: сию, сию – прислушиваюсь...

– И что же вы слышите?

– Многое, – кивнул снисходительно Чаадаев, – сейчас Европа накануне скачка. Она тоже, наподобие вас, не находит самое себя. Будьте уверены, что в Париже рука уже вынула камень из мостовой.

Чаадаев погрозил ему пальцем. Грибоедов вслушался. Он почувствовал неестественность белого лица и блестящих голубых глаз, речи, самые звуки которой были надменны.

Новая Басманная с флигелями отложились, отпала от России.

– Мой дорогой друг, – сказал Чаадаев, с сожалением глядя на Грибоедова, – вы, как то свойственно и всякому человеку, полагаете самым важным то, что вам ближе. Вы ошибаетесь. Не в войнах, конечно, теперь дело. Война в наш век – игрушка дураков. Присоединят колонию, присоединят другую – что за глупое самолюбие пространства! Еще тысяча верст!

Нам и своих девать некуда.

Грибоедов медленно краснел.

Чаадаев прищурил глаза.

– Лечитесь. У вас нехороший *teint*⁸. Вам нужен геморроидальный режим. Непременно должно ходить на двор, *aus freier Hand*, как это называется по-немецки.

– Вы не знаете России, – говорил Грибоедов, – а московский Английский клуб...

Чаадаев насторожился.

– ...для вас подобие английской палаты. Вот вы говорите: тысяча верст, а сидя в этом флигеле...

– Павильоне, – недовольно поправил Чаадаев.

Нетопленный осклизлый камин имел вид развратника поутру. Чаадаев почти лежал в низких длинных английских креслах, похожих на носилки. Ноги его в туфлях торчали.

– Во всем этом есть некоторая путаница, – сказал он в нос и, вытянув губы, закачал головой, как музыкант, прислушивающийся к новой пиесе, разыгрываемой перед ним впервые.

Грибоедов следил за ним с любопытством.

– Так, так, – сказал вдруг Чаадаев, поймав наконец за хвост какой-то ритм или мелодию, и, поднеся к губам палец, вдруг этот хвост проглотил. Он хитро и многозначительно поглядел на Грибоедова, любовался им, как бы говоря: «Я знаю, а тебе не скажу».

⁸ Цвет лица (*фр.*).

Вошел Иван Яковлевич, держа на подносе две чашки кофе. Грибоедов глотнул и с отвращением отставил свою чашку.

– Желудочный кофе, – пояснил Чаадаев, прихлебывая, – меня выучили варить его в Англии.

«Много чему тебя там выучили», – подумал Грибоедов.

– Я многому там научился, – сказал Чаадаев, пристально глядя на него. – Но не всем дано научиться. Пружины тамошней жизни сначала прямо отталкивают. Движение необъятное – вот все, не с чем симпатизировать. Но научитесь говорить слово *home*⁹, как англичанин, и вы позабудете о России.

– Это отчего же?

– Потому что там есть мысль, одна спокойная мысль во всем. У нас же, как вы, вероятно, успели заметить, ни движения, ни мысли. Неподвижность взгляда, неопределенность физиогномии. Тысяча верст на лице.

Он позвонил.

Вошел Иван и вопросительно глянул.

– Можешь, любезный, идти, – сказал снисходительно Чаадаев. – Это я так позвонил.

Иван вышел.

– Вы видели это лицо? – спросил спокойно Чаадаев. – Какая неподвижность, неопределенность... неуверенность – и холод. Вот вам русское народное лицо. Он стоит вне Запада и вне Востока. И это ложится на его лицо.

⁹ Дом, домашний очаг (*англ.*).

«Ну и соврал», – с сладострастием подумал Грибоедов.

– Ваш человек не русский, – сказал он холодно Чаадаеву, – он только кривляет свое лицо, он вас копирует. А мы кто? Поврежденный класс полувропейцев.

Чаадаев смотрел на него покровительственно.

– О, любезный друг, какая у вас странная решительность мнений и разговора, вообразите, я ее встречаю везде, кругом, ее – и немощность поступков.

Грибоедов не ответил, и наступила тишина. Чаадаев увлекся кофеем, прихлебывал.

– У нас тоже есть мысль, – сказал вдруг Грибоедов, – корысть, вот общая мысль. Другой нет и быть не может, кажется. Корысть заохотит всех более познавать и самим действовать. Я в Париже не бывал, ниже в Англии, а на Востоке был. Страсть к корысти, потом к улучшению бытия своего, потом к познанию. Я хотел вам даже рассказать об одном своем проекте.

Чаадаев пролил кофе на халат.

– Да, да, да, – сказал он недоверчиво и жадно поглядывал на Грибоедова, – помнится, я читал об этом.

– О чем читали? – остолбенел Грибоедов.

– Но, бог мой, и о корысти и... проект. Вы читали Сен-Симона? И потом... милый друг, да ведь это же об Ост-Индской компании была статья в «Review».

Грибоедов насупился. Склизкие глаза Чаадаева на него посматривали.

– Да, да, – говорил Чаадаев тускло, – это интересно, это очень интересно.

– Мой друг, мой дорогой друг, – сказал он вдруг тихо, – когда я вижу, как вы, поэт, один из умов, которые я еще ценю здесь, вы – не творите более, но погружаетесь в дразги, мне хочется сказать вам: зачем вы стоите на моем пути, зачем вы мне мешаете идти?

– Но вы, кажется, и не собираетесь никуда идти, – сказал спокойно Грибоедов.

Чаадаев сбросил на стол черный колпак с головы. Открылась лысина – высокая, сияющая. Он сказал, гнусава, как Тальма:

– О мой корыстный друг, поздравляю вас с прибытием в наш Некрополь, город мертвых! Долго ли у нас погостите?

Провожая Грибоедова, он у самых дверей спросил его беспечно:

– Милый Грибоедов, вы при деньгах? Мне не шлют из деревни. Ссудите меня пятьюдесятью рублями. Или ста пятьюдесятью. Первой же поштой отошлю.

У Грибоедова не было денег, и Чаадаев расстался с ним снисходительно.

6

...Освещенные окна вызвали знакомое томление: кто-то его ждал в одном из окон.

Он знал, что все это, конечно, вздор, ни одно окно не освещено, ни одно сердце не бьется здесь для него.

Он знал больше: за окнами сидят молодые, старые и средних лет люди, по большей части чиновники, дрянь, говорят, сплетничают, играют в карты, наконец гаснут. Все это, разумеется, вздор и бредни. И на сто человек – один умный.

Стыдно сознаться, он забыл имена московских любовниц; окна светились не для него, бордели его юности были закрыты.

Где найдет он странноприимный дом для крова, для сердца?

Он увидел розовое лицо, пух мягких волос, услышал радостное трепыхание дома, детский визг из комнат и женское шиканье – и ощутил прикосновение надежной щеки.

Весь он был заключен в мягкие, необыкновенно сильные объятия.

Тогда он понял, что все, что утром творилось, – раздражение нерв, дрянь, шум в крови.

Просто – он начал визиты не с того конца.

И он обнял Степана Никитича со старой быстротой, щегольством угловатых движений.

Уже бежали дети, воспитанницы, гувернантки из дверей с визгом.

Мамзель Питон отступила перед ним в реверансе, как Кузцов перед Наполеоном.

Она была налита ядом, и ее прозвали дома Пифоном.

Дети и воспитанницы тряслись на ножках, ожидая очереди на реверанс.

Детей Степан Никитич тотчас отослал. Мамзели Пифону он отдал какие-то распоряжения почти на ухо, так что Пифон с гадливостью отшатнулся. Впрочем, она тотчас же скрылась.

– Змей Горыныч, – кивнул головой Степан Никитич не Грибоедову, а вообще. – Диво женское.

Соорудился стол.

Виноград из Крыма, яблоки из собственного имения, трое лакеев побежали, запыхавшись, за остальным.

Степан Никитич расставил вино, обратился не то к бутылкам, не то к Грибоедову: «Знай наших» или: «Не замай наших» и уставил в порядок.

Потом деловито потащил его к свету, серьезно оглядел и хмыкнул от удовольствия. Грибоедов был Грибоедов.

– Что ж ты, мой друг, не заехал ко мне сразу? Ведь стыдно ж тебе маменьку беспокоить. Ведь твой Сашка там в гроб всех уложит.

Стало ясно, как дважды два равно четырем, что он, Александр Грибоедов, Саша, приехал с Востока, едет в Петербург, везет там какие-то бумаги, и баста. Расспросы и рассказы ни к чему не поведут. Они имеют смысл, только когда люди не видятся день или неделю, а когда они вообще видятся неопределенно и помалу, – всякие расспросы бессмысленны. Чтобы продолжалась дружба, нужно одно: тождество.

Степан Никитич тащил Грибоедова к окну убедиться, что он тот же, и убедился.

Принесли еще вина, пирог с трюфелями.

Степан Никитич слегка нахмурился, оглядел стол. В его взгляде была грусть и опытность.

Он взял какую-то бутылку за горло, как врага, примерился к ней взглядом – и вдруг отослал обратно.

Грибоедов, уже расположившись поест, внимательно за

ним следил.

Они встретились взглядами и захохотали.

– Анна Ивановна-то, друг мой, – сказал Бегичев значительно о своей жене, – это я только при змее Пифоне тебе сказал, что она в гостях. Она опять к матушке перебралась.

Он покосился на лакея и нахмурил брови.

– На сносях, – сказал он громким шепотом.

– Ты скажи ей, моему милому другу, – сказал Грибоедов, – что если мои желания исполнятся, так никому в свете легче ее не рожать.

Анна Ивановна была его приятельницей, заступницей перед маменькой и советчицей.

– А ты как, на которую наметил? – спросил и весело и вместе не без задней мысли Бегичев.

– Будь беззаботен, – расхохотался Грибоедов, – я расхолодел.

– А..? – Бегичев шепотом назвал: – Катенька. Грибоедов отмахнулся.

– Роскошствуешь и обмираешь? – подмигнул Бегичев.

– Да я ее навряд и увижу.

– Ты в нее тряпичатым подарком стрельни, – посоветовал Бегичев, – они это любят.

– В Персии конфеты чудесные, – ответил задумчиво Грибоедов, жуя халву.

Бегичев щелкнул себя по лбу:

– Позабыл конфеты, ты ведь конфеты любишь, сладстена.

– Не тревожься. Здесь таких конфет вовсе нет. Там совсем другие конфеты. Вообрази, например, кусочки, и тают во рту. Называется пuffed, или вроде хлопчатой бумаги, и тоже тают. Называется пешмек. Потом гез, луз, баклава – там, почитай, сортов сотня.

Бегичев чему-то смеялся.

– Маменька-то, – сказал он вдруг, – я ее с месяц уже не видал. Прожилась совсем.

Грибоедов помолчал.

– А твои заводы как? Он огляделся вокруг.

– У тебя здесь перемены, как будто просторнее стало.

– Сердце мое, – говорил Бегичев, – ты нисколько не переменялся. Заводы у меня совсем не идут. У жены что дядей, теток!

Бегичев все строился и пускал заводы, но заводы не шли. Состояние жены проживалось медленно, оно было значительное. Женины родственники вмешивались в дела и наперерыв давали советы, бестолковые.

Потом Бегичев повел его в диванную, Грибоедов забрался с ногами на широкий, мягкий, почти азиатский диван. Бегичев притащил с собой вина и запер дверь, чтоб Пифон не подслушивал.

– Я сегодня в вихрях ужасных, – сказал Грибоедов и закрыл глаза. – Все пробую, все не дается. Я, вот погоди, переберусь к тебе, на твой диван совсем. Поставишь мне сюда стол, и буду писать.

Бегичев вздохнул.

– Перегори, потерпи еще. Поезжай в Персию на год. Грибоедов открыл глаза:

– Маменька говорила?

– Да что ж маменька, у маменьки пятнадцать тысяч долгу у старика Одоевского.

И, взглянув в глаза Бегичева, Грибоедов понял, что не о маменьке речь.

– Я уже давно отказался от всяких тайн. Говори свободно и свободно.

– Тебе в Москве нехорошо будет, – сказал Бегичев и снял пылинку с грибоедовского сюртука. – Люди другие пошли. Тебе с ними не ужиться.

Грибоедов взмахнул на него глазами:

– Ты обо мне как о больном говоришь. Бегичев обнял его.

– У тебя сухая кровь, Александр. Тебе самому, мой единственный друг, здесь не усидеть. Вспомни, как перед «Горем» было: бродил, кипел, то собирался жить, то умирать. И вдруг, как все пошло!

Он был старше Грибоедова; у него не было имени, о положении он не заботился, просто проживал женино состояние, но он имел над ним власть. Грибоедов рядом с ним казался себе неосновательным.

Таков был мягкий пух бегичевской головы.

– Я в Персию не поеду, – лениво сказал Грибоедов, – в Персии у меня враг, Алаяр-хан, он зять шаха. Меня из Пер-

сии живым не выпустят.

Он не думал о докторе Макниле, не помнил о нем – но когда говорил о Персии, чувствовал неприятность свежего, не персидского происхождения.

– Я что? – говорил Бегичев. – Я ем, пью, тешусь заводами. Утром встаю, думаю: много еще времени до вечера, вечером: еще ночь впереди. Так и время пройдет. А тебе большое плаванье. А отчего Алаяр-хан сделался враг твой? Да, да. Это участь умных людей, что большую часть жизни надо проводить с дураками. А здесь их сколько! Тьмы и тьмы. Больше, чем солдат. Может, к Паскевичу?

– Неужто ты думаешь, – сказал Грибоедов и скосил глаза, как загнанный, – что я у него способен вечно служить?

Ему стало тесно на диване. Они выпили вина.

– Ты не пей бургундского. От бургундского делается вихрь в голове.

Саша не пил бургундского, пил другое. Он присмирел, сидел насторожась. Он стал послушен. Так сидят два друга, и английские часы смотрят на них во весь циферблат.

Так они сидят до поры до времени.

Потом один из них замечает, что как бы чужой ветер вошел в комнату вместе с другим.

И манеры у него стали как будто другие, и голос глуше, и волосы на висках реже.

Он уже не гладит его по голове, он не знает, что с ним делать.

У него, собственно говоря, есть желание, в котором трудно сознаться, – чтобы другой поскорее уехал.

Тогда Грибоедов подошел к фортепьяно.

Он нажал педали и оттолкнулся от берега.

Вином и музыкой он сразу же отгородился от всех добрых людей. Прощайте, добрые люди, прощайте, умные люди!

Крылья дорожного экипажа, как пароходные крылья, роют воздух Азии. И дорога бьет песком и пометом в борт экипажа.

Ему стало тесно метанье по дорогам, тряска крови, тряска дорожного сердца.

Он хотел помириться с землей, оскорбленной его девятилетней бестолковой скачкой.

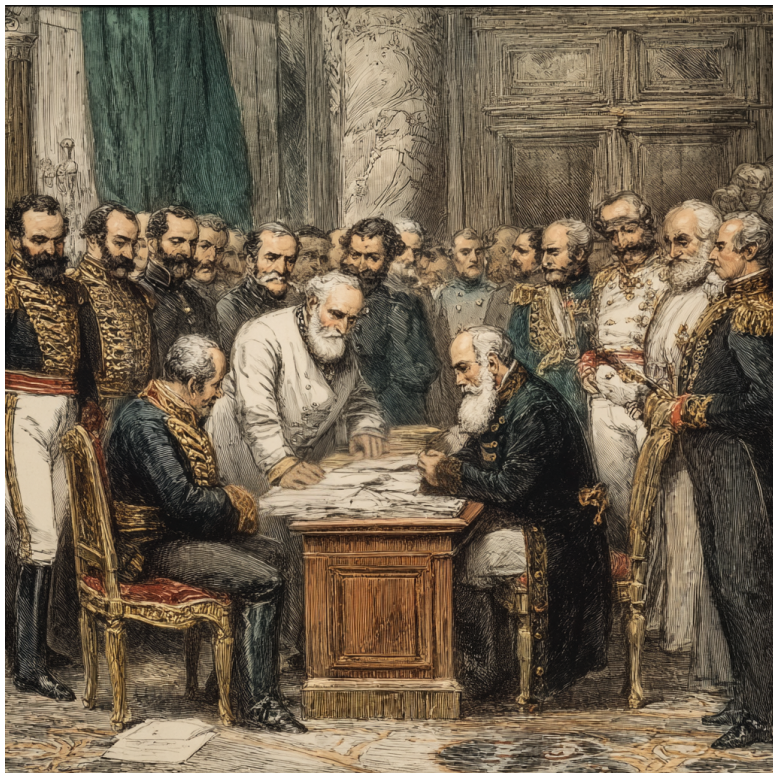
Но он не мог помириться с ней, как первый встречный прохожий.

Его легкая коляска резала воздух.

У него были условия верные, как музыка. У него были намерения. Запечатанный пятью аккуратными печатями, рядом с Туркменчайским – чужим – миром лежал его проект.

Глава вторая

*Арабский конь быстро мчится
два перехода – и только. А верблюд
тихо шествует день и ночь.
Саади. Гюлистан*



Появилась маленькая заметка в газете «Северная пчела»,
в номере от 14 марта:

«Сего числа в третьем часу пополудни возвещено жителям столицы пушечным выстрелом с Петропавловской крепости о заключении мира с Персией. Известие о сем и самый трактат привезен сюда сегодня, из главной квартиры действующей в Персии Российской Армии, ведомства Государственной Коллегии Иностранных Дел Коллежским Советником Грибоедовым».

С трех часов все перепугались.

Пушки Петропавловской крепости – орудийная газета Петербурга. Они издавна вздыхают каждый полдень и каждое наводнение. На миг в Петербурге все торопеют. В жизнь каждой комнаты и канцелярии вторгается пушечный выстрел. Краткий миг изумления кончается тем, что взрослые проверяют часы, а дети начинают бессознательно играть в солдатики.

Привычка эта так сильна, что, когда начинается наводнение, чиновники бросаются переводить часы.

Но с трех часов 14 марта 1828 года пушки вздыхали побоевому. Был дан двести один выстрел.

Петропавловская крепость была тем местом, где лежали мертвые императоры и сидели живые бунтовщики.

Двести один, друг за другом, выстрел напоминал не торжество, а восстание.

Между тем все было необычайно просто и даже скучно. Вечером коллежский советник прибыл в номера Демута.

Он потребовал три нумера, соединяющиеся между собою и удобные. Он завалился спать и всю ночь проспал как убитый. Изредка его смущал рисунок обоев и мягкие туфли, шлепавшие по коридору. Чужая мебель необыкновенно громко рассыхалась. Он словно опустился в тяжелый, мягкий диван, обступивший его тело со всех сторон, провалился сквозь дно, и нумерные шторы, казалось, пали на окна навсегда.

В десять часов он уже брился, надевал, как перед смертью или экзаменом, чистое белье, в двенадцать несся в Коллегию Иностранных Дел.

В большой зале его встретили чины. Сколько разнообразных рук он пожал, а взгляды у всех были такие, как будто в глубине зала, куда он поспешно проникал, готовилась неожиданная западня.

Все коллежские советники Петербурга были в этот день пьяны завистью, больны от нее, а ночью безотрадно и горячо молились в подушки.

Западни не было, его пропускали к самому Нессельроду. И вот он стоял, Нессельрод, в глубине зала.

Карл-Роберт Нессельрод, серый лицом карлик, руководитель наружной российской политики.

Прямо, не сгибаясь, стоял коллежский советник в зеленом мундирном фраке перед кондотьером и наемником шепотов.

Наконец движением гимнаста, держащего на шее шест с другим гимнастом, он склонил голову.

– Имею честь явиться к вашему превосходительству.

Карлик высунул вперед женскую ручку, и белая ручка легла на другую, желтую цветом.

Коллежские советники смотрели.

Потом снова раздалось заклинание коллежского советника:

– Ваше превосходительство, имею честь вручить вам от имени его превосходительства главнокомандующего Туркменчайский Трактат.

Белая ручка легла на объемистый пакет с сургучами. Серая головка зашевелилась, еврейский нос дунул, и немецкие губы сказали по-французски:

– Приветствую вас, господин секретарь, и вас, господа, со славным миром.

Карл-Роберт Нессельрод не говорил по-русски.

Он повернулся на каблучках и открыл перед Грибоедовым дверь в свой кабинет. Сезам открылся. По стенам висели темные изображения императоров в веселых рамах, и стол был пуст, как налой.

Взгляду, которому нельзя было зацепиться ни за книгу, ни за папку с делами, предоставлялось предаться на волю отвлеченного случая.

Тут его Нессельрод усадил.

– Перед тем как отправиться, господин Грибоедов, к императору, я хочу лично выразить вам свою глубокую признательность за ваше усердие и опытность.

Крест болтался у него на груди с трогательной беспомощностью и как бы приглашал дернуть и оборвать.

– Условия мира, в котором вы столь много нам помогли, для нас так выгодны, что с первого взгляда кажутся даже неосуществимыми.

Он улыбнулся печально и приятно, и эту улыбочку забыл на лице, серые глаза дребезжали по Грибоедову.

Тогда Грибоедов сделал каменное выражение. Не коллежский советник сидел перед министром, а сидели два авгура, которые торговались за знание. Нессельрод делал вид, что его знание выше.

– Превосходный, почетный мир, – сказал он со вздохом, – но...

Второй авгур не сбавлял цены со своего знания, даже не вытянул головы в знак внимания.

– ...но не думаете ли вы, дорогой господин Грибоедов, – немного сбавил Нессельрод, – что, с одной стороны...

Решительно, ему не хотелось договаривать.

Тогда младший заговорил:

– Я полагаю, ваше превосходительство, что, с одной стороны, границы наши по Араксу, до самого Едибулукского брода, отныне явятся естественными границами. Нас будет охранять уже не единственно мудрость политики вашего превосходительства, но и река и горы.

– Да, да, – запечалился Нессельрод и вдруг слегка обиделся. Он перестал колебаться, и крестик остановился на груди,

как пришитый. На его стороне было теперь молчание.

– С другой стороны, – сказал младший и остановился так, как будто кончил фразу. Он многому научился в Персии.

– С другой стороны, – сказал Нессельрод, как бы извиняя неопытность младшего и сожалея о ней, – сможем ли мы отвечать за исполнение столь блистательного мира во всех пунктах, принимая все-таки во внимание...

...И ручка сделала жест. Жест означал турецкую войну.

– Я надеюсь, ваше превосходительство, что турецкая кампания быстро окончится.

Старший беспомощно оглянулся: грек Родофиникин, раскоряка, заведовавший Азиатским департаментом, заболел лихорадкой. Между тем именно у него была любезная вульгарность тона, которая помогает в сношениях с младшими. Он бы тут улыбнулся, раскоряка, он бы свел разговор на какие-нибудь глупости, пустяки, и притом самого будничного свойства («какая халва в Персии! и хурма!»), и потом сразу же похлопал бы по плечу, конечно, в моральном смысле.

Нессельрод радостно улыбнулся и сказал:

– Да, я тоже надеюсь, вы, вероятно, знаете, что государь с небольшим кружком – о! *la bande des joyeux!*¹⁰ – Нессельрод с каким-то отчаянным удальством взмахнул ручкой, – собирается сам на театр войны, как только ее объявим.

Война уже в действительности началась, но не была еще объявлена.

¹⁰ Веселая банда (*фр.*).

Младший ничего не знал о небольшом кружке и высоко поднял брови. Положительно, руководитель ощутил недостаток истинной наивности.

Он ведь не мог так, прямо, сказать коллежскому советнику, что как раньше он хотел ускорить позорно затянувшуюся, безвыходную персидскую войну, так всеми силами он теперь должен будет стараться замедлить войну с Турцией.

Война была для него сумбур, неожиданность, *brouhaha*¹¹.

Она как-то всегда связывалась для него по воспоминаниям молодости с падением какого-то министерства. А теперь он сам был министр.

И вот он сидит, машет удалой ручкой, а между тем просто-напросто стоит уехать и выйти в отставку, пока не поздно.

Его старый приятель, граф де ла Фероней, которого недавно отозвали во Францию, писал ему каждую неделю из Парижа: французы беспокоятся, они недовольны, Европа соразмеряет русские силы со своими, и пусть уж он, Нессельрод, стоваривается с новым послом, а граф де ла Фероней советует: мир, мир во что бы то ни стало, любой, при первой удаче или неудаче.

Князь Ливен, посол в Лондоне, писал Нессельроду, что не выходит на улицу: дюк Веллингтон не желает с ним знаться, и только некоторые неудачи русских войск его умилоствивят.

А лорд Абердин начал странным образом симпатизиро-

¹¹ Ералаш (*фр.*).

вать Меттерниху. Это уже было не brouhaha, а нечто похуже. Меттерних...

Но здесь открывалась старая рана – венский учитель отрекся от петербургского ученика, он ругал его на всех языках Дантоном и идиотом.

Карл-Роберт Нессельрод должен был при всем том управлять, управлять, управлять.

Днем и ночью, не разгибая спины, радоваться.

И его не хватило.

Управление он сдал своей жене, себе оставил – радость. Это была трудная задача. Он знал, что в Петербурге его прозвали печеной рожей и один писака сочинил про него ужасный площадной пасквиль: что он *peteur*¹², а не министр Европы.

Карл-Роберт Нессельрод, сын пруссака и еврейки, родился на английском корабле, подплывавшем к Лиссабону.

Равновесие и параллельная дружба качались теперь, как английский корабль, и это он, он, Карл-Роберт Нессельрод, кричал, как его мать в тот момент, когда она рожала его на корабле.

Впрочем, его крик наружно выражался в другом: он улыбался.

Он хотел сбавить немного цены этому странному курьеру, нащупать, что он такое за человек, но вместо того, кажется,

¹² Вонючка (*фр.*).

просто выразил недовольство миром и тем показал, что мир устроился без него, без Нессельрода. Этот молодой человек тоже, кажется, из этих... из умников. Впрочем, он родственник Паскевичу. Нессельрод обернулся к коллежскому советнику, представлявшему собою смесь русской неучтивости и азиатского коварства, и весело улыбнулся:

– Мы еще поговорим, дорогой господин Грибоедов. Теперь пора. Надо спешить. Ждет император.

2

*Меня позвали в Главный Штаб
И потянули к Иисусу.*

Грибоедов

В мягких штофных каретах сидело дипломатическое сословие. Нессельрод усадил Грибоедова рядом с собой. В карете было душно и неприятно, карлик забыл дома приятную улыбку. Он снова найдет ее во дворце. В карете же он сидит страшный, без всякого выражения на сером личике и в странном, почти шутовском наряде.

На нем мундир темно-зеленого сукна, с красным суконным воротником и с красными обшлагами. На воротнике, обшлагах, карманных клапанах, под ними, на полах, по швам и фалдам – золото. По борту на грудке выются у него шитые брандебуры. На новеньких пуговицах сияют птичьи головки – государственный герб.

Когда же карлик кутает ноги, – переливает темно-зеленый шелк подкладки.

На нем придворный мундир. На шляпе его плюмаж.

Они катят во дворец.

Все было заранее известно, и все же оба волновались. Они вступали в царство абсолютного порядка, непреложных ис-

тин: был предуказан цвет подкладки и форма прически, была предусмотрена гармония. Нессельрод с тревогой оглядел Грибоедова. Он помнил указ об усах, кои присвоены только военным, и о ношении бород в виде жидовских.

Коллежский советник, видимо, тоже знал указ и был причесан прилично.

Подкатили не к главным воротам дворца, а к боковым. Караульные солдаты вытянулись в струнку, и офицер отдал салют.

Как только карлик, а за ним Грибоедов выскочили кареты, вытянулось перед ними широкое незнакомое лицо. Звание лица было: Придворный Скороход. Походкой гордой и мягкой, как бы всходя на амвон, Придворный Скороход повел их в тяжелую дверную пристройку и предводительствовал ими, идя все тем же задумчивым шагом по лестнице. На голове его развевались два громадных страусовых пера: черное и белое. У входа в апартаменты Скороход остановился, поклонился и, оставив прибывших, стал медленно сходить по лестнице. Так он по тройке начал вводить дипломатическое сословие.

Грибоедов был желт, как лимон.

Скороход и Гоф-Фурьер шествовали молча впереди. Оба были упитанны, чисто выбриты и спокойны.

Дипломаты были введены в Комнату Ожидания.

Здесь их встретил Чиновник Церемониальных Дел. Он присоединился к Скороходу и Гоф-Фурьеру.

Сначала впереди шли: Гоф-Фурьер и Скороход.

Потом: Чиновник Церемониальных Дел, Гоф-Фурьер и Скороход.

Церемониймейстер, Чиновник этих Дел, Гоф-Фурьер и Скороход.

Обер-Церемониймейстер, просто Церемониймейстер, Чиновник названных уже Дел, Гоф-Фурьер и Скороход.

Их встречали в каждой новой зале, присоединялись молчаливо и, не глядя друг на друга, шагали, кто по бокам, кто впереди – вероятно, по правилам.

Тихая детская игра, в которую играли расшитые золотом старики, разрасталась.

Как только присоединялся новый чин в каждом новом зале, Грибоедов испытывал детский страх: так терпеливо они поджидали их, так незаметно отделялись от пестрой стены и сосредоточенно соразмеряли свой шаг с остальными.

Это напоминало дурной сон. В Зале Аудиенции Обер-Церемониймейстер застрял, по правилам, перед дверью, а встретил их Гофмаршал и Обер-Гофмаршал.

Нессельрод быстро посапывал от моциона и удовольствия. Серое личико стало розовым – их встречали с необычайным почетом.

И вот известный лик, с подбирающим шею воротником, ступеем, под которым ранняя лысина, с лосинами ног, почти съедобными, такой они были белизны. У него было розовое лицо.

Он сказал что-то и улыбнулся подбородком: большой подбородок осел книзу. Он взял у карлика из рук пакет и дернул головой и взглядом вбок, в сторону Обер-Гофмаршала. Старик в золоте засуетился, стоя на месте. Не сходя с места, он весь суетился, лицом и телом. Это был очень тревожный бег на месте.

Грибоедов догадался, в чем дело, когда ухнул первый выстрел.

Механизм был устроен так: нитка шла от известного лица через Гофмаршала к петропавловским пушкам. Лицо сделало жест, но пушка запоздала – и вот оно сердилось.

Так начали двухчасовой бой пушки.

Николай говорил с Нессельродом, держа его за брандесбург. Потом он перешел к Грибоедову и спросил:

– Как здоровье моего командира?

Наследником он служил под командой Паскевича и с тех пор называл его командиром и отцом-командиром.

– Я, помнится, года три тому назад встречал вас у него.

– У вашего величества превосходная память. Пушки били, как часы.

Стоило трястись месяц в жар и холод, чтобы сказать плоский комплимент.

Карлик расцветал, как серая роза. Он считал выстрелы.

Он знал, что с каждым выстрелом что-то меняется в его формуляре.

Вот он мало-помалу становится графом, вице-канцлером.

Вот аренды, ренты, имения. – Поздравляю вас, господа! Грибоедов знал заранее с чем.

Орден святыя Анны второй степени с алмазами был обещан ему Паскевичем. Он обеспокоился: неужели Паскевич забыл о деньгах – он просил четыре тысячи червонцев. Откуп от маменьки.

Карлик считал с просветленным лицом.

Он стоял золотую рыбкой в аквариуме.

Он как бы рос, выпрямлялся, тянулся, он уже не был более, как за час до того, просто Карл-Роберт Нессельрод, он был вице-канцлер империи. Он попробует вытянуться еще и еще, и, может быть, он дотянется до... чего?

Будь у него жабры, он захлопал бы ими.

Выстрелы.

Паскевич становился графом, Нессельрод – вице-канцлером.

Коллежский советник Грибоедов получал орден и червонцы.

Чеканились серебряные медали с надписью на лицевой стороне: «За персидскую войну», на обороте: «1826, 7 и 8».

Все уже были в дворцовой церкви, когда Нессельрод очнулся.

Он был английского исповедания, сын католика и протестантки, и привык молиться в православной церкви.

Пальба прекратилась. Город гудел от колокольного звона. Трезвон был не московский, не утробный и вздохательный,

а другой, пустой и звонкий, залихватский, как цоканье кавалерийских копыт.

Было молчаливое соглашение.

Под кораблем, что когда-то подплывал к Лиссабону, ходили подводные течения. Они ходили под дипломатическим сословием и знатными особами обоего пола.

Никто не знал, куда идет корабль, меньше всех – руководитель наружной российской политики.

Но все чувствовали, что от цвета мундиров зависит направление умов. Все знали, что воротник коллежского советника должен быть черный, бархатный. Иначе нити потеряют осязаемость, поплывут из рук, станут неуловимы. Корабль завертится, повторится декабрь, начнется вертиж.

Было молчаливое соглашение между известным лицом, карликом и русским богом.

В дворцовой церкви, похожей на детскую рождественскую елку, принял от коллежского советника рапорт в последний раз Бог. Известное лицо приняло рапорт от Бога и улыбнулось.

3

Он физически устал от дворца более, нежели от скачки, и, когда ринулся к себе в номера, стал обнимать всех без разбора, единственно чтоб размять руки. Сколько их было в номерах! Все старые друзья. Он успокоился, только обняв по ошибке Сашку, который вертелся под ногами, и рассмеялся.

– Что ты под ногами путаешься!

Осмотрел всех, как слишком расшалившийся именинник, но на нем уже повис Булгарин.

Фаддей облысел, обнаглел. Крупная слеза повисла у него на красных веках. Он все хохотал, смотрел на Грибоедова как потерянный и переводил взгляд с него на других, с других на него.

Грибоедов сел, беспечный и молодой.

Вот их сколько к нему привалило, старых друзей. Потом он заметил, что в номерах было много и незнакомых. Это ему не понравилось. Он, кажется, был смешон.

И уже тащили его в театр, приглашали, напоминали все сразу о старой приязни, и кто-то боялся, что Грибоедов не узнал его, и прибыл лакей от Нессельрода с приглашением на бал.

Он оставил всех в первой комнате и прошел во вторую, спальную. Третья была кабинетом.

Так останавливались у Демута восточные послы и курье-

ры.

За ним вполз Фаддей.

– Каково, Фаддей, ветошничаете, с кем в войне?

Грибоедов переодевался, лил на голову ледяную воду и фыркал.

Фаддей смотрел на все это как на обряд. В переодевании чувствовал он конец дворцовой церемонии.

Грибоедов скинул белье, отяжелевшее от дворцового по-та, как мундир.

– Ты загорел, ты потолстел, – говорил любовно Фаддей и гладил его желтоватую руку.

Сашка ходил с утиральником вокруг Грибоедова.

Между мыльной водой и одеколоном Грибоедов узнал, что Леночка Булгарина здорова, вспоминает его и будет сегодня в театре, что умер старик Корнеев, тайный советник, и жена его тотчас стала хлопотать о втором браке, – «скандал, братец, совершеннейший скандал», – что пошли новые моды на балах – узкие панталоны, в журналах все то же – все ждут его.

Грибоедов на него брызгал водой, и Фаддей говорил:

– Ну свинья, братец, решительно мальчик. Помолодел.

4

Умытый, затянутый, в свежем белье и податливых воротниках, скинув тысячу лет, он вошел в знакомый зал.

В Большом театре был парадный спектакль.

Его черный фрак прорезал толпу, как лодка воду.

Он не был здесь два года, и все изменилось. Зал был заново выкрашен, плафон был лазурного цвета, какая-то лепка отягощала его. Музыка полоскала бравуры Буальдьё и мешала оглядеться.

Он же любил строгую пустыню старого театра, где сцена была эшафотом, ложи – судьями, партер – толпой, театральные машины – гильотиной.

Резкий воздух театральных сплетен был его дипломатической школой, споры с полицеймейстером – войной, ласки актрис за кулисами – тюремными свиданиями любовников.

Где Катенин, где Шаховской, его враг Якубович?

Где Пушкин, по обязанности острящий в первых рядах и вносящий в театр грубый дух парижской улицы?

Но Пушкин подошел к нему и просто протянул руку.

– Рад вас видеть! – закричал он сквозь Буальдьё. – Завидую вам. Вы скачете по Персии, а мы по журналам.

Баки его подходили под класс «вроде жидовских». Какая-то новая независимость обращения была в нем.

– И так же надоело? – спросил Грибоедов.

Он колебался. «Горе» его лежало ненапечатанное, непредставленное, под спудом, он писал теперь другую пьесу. Быть комическим автором одной пьесы – в этом было что-то двусмысленное. Он тогда писал для театра, а теперь он будет поэт. С Пушкиным должно было быть осторожным. Он смущал его, как чужой породы человек.

– Вяземский зовет теперь Аббаса-Мирзу Аббатом Мирзой, – сказал Пушкин. – Завидую вам. Давайте меняться.

Было чем меняться.

Оба увидели, что окружены.

Толпа следила за ними. Бакенбарды не лежали уже, как в его предыдущий приезд, по лицам до подбородков, но сходили прямой линией под галстук, ровно подбритые углом. Все были в узких панталонах, щеголи – в обтяжку. Искусственные букеты лежали у дам тоже выше, прямо на чашке плеча. Плечи и руки стали голее, юбки выше. Глаза под веерами скользили по ним обоим, и бакенбарды шевелились от реплик.

Дамы удивительно обнаглели: подходили, смотрели в упор и шли прочь со смехом.

Выходило, что они до балета давали бесплатное представление. Пушкин взглянул на брегет. К дамам он, видимо, по привык.

– Из-за государя опоздают, как водится, – сказал он, – я не люблю этого обыкновения, оно отзывается ожиданием в канцелярии и нравами Александра Павловича...

Это было объяснением.

– Государь честен, бодр, – говорил Пушкин уныло и бродил глазами по лицам и плечам, – прям, того и гляди, как торжников вернет. Я, кажется, с ним помирился, – сказал он и посмотрел вопросительно на Грибоедова, – но я не люблю, когда меня заставляют ждать.

– Ну, а он с вами? – улыбнулся Грибоедов. Пушкин пожал плечами.

– Я из зависти к вам начинаю писать историю кавказских войн, – сказал он потом, – и уже писал Ермолову. К вам боюсь и подступить.

Прямо на них шел, волоча за локоть Леночку, Булгарин. Вдруг Пушкин быстро пожал руку Грибоедову и сказал скороговоркой:

– Мы еще встретимся. Я рад. Нас немного, да и тех нет.

Заглушенный бравуром, он хотел скрыться. Но Булгарин, оставив на произвол судьбы и Леночку и Грибоедова, метнулся к Пушкину, радостно захлопотал, потом на глазах у всех взял его под руку, ровным шагом повел в угол, непрерывно убеждая, запустил руку в боковой карман и подал какой-то листок.

Леночке Грибоедов поцеловал руку с чувством, и она застыдилась. Фаддей, который так же быстро бросил Пушкина, как давеча Леночку, хрипел и ловко оттеснял от него коллегских советников. Он смотрел на Грибоедова как на собственность и печалился, что у них кресла не рядом.

Служители притушили огни, открылся балет.

Он почувствовал особую легкость всего тела, мускулы собрались. Он стал легче обычного, исчез вес. Немного наклонившись очками вперед, он посмотрел на сцену и откинулся в креслах. Потом огляделся. Лощеные человеческие лысины, белые и розовые плечи тревожили его.

Он был опять молод, ему хотелось смеяться.

Полутемная пустота, шевелившаяся и перекликавшаяся кашлем, была его молодостью. Здесь он находил самого себя: тревога, шедшая из тела, здесь была общим законом, – все тревожились, все кого-то искали глазами и ощущали смятение. Женщины в последний раз поводили головами перед невидимым зеркалом, мужчины снимали пылинки с фраков.

Он владел всеми, возвышался над ними.

Переговоры с Аббасом, угодничество перед Паскевичем, дворцовый сегодняшний парад – были подготовкой, условием для того, чтобы здесь владеть толпой.

Играли Генделев гимн «God, save the king»¹³. Толпа шарахнулась и смиренно встала.

С гордостью он взглянул в сторону императорской ложи. С кем тягаться?

Он понял сегодня двусмысленное существование Николая. Император был неполный человек. Холод его взгляда был необычаен. От солдатского сукна шел запах пудры, бе-

¹³ До 1833 года не было так называемого национального гимна. Исполнялся вместо того английский. («Боже, храни короля». – *Ред.*).

лые лосины были сладкого, вяжущего цвета. Пушкин писал ему стансы, Николай покорял его, потому что Пушкин был человек другой породы.

Грибоедов выгнулся к императорской ложе и прищурил глаз. Он перехитрит его.

Были рукоплескания, требовали повторения гимна – российского, национального, того самого, что сочинил немец для английского короля.

Во втором ряду у прохода – об этом никто не знал – сидело озорство в черном чопорном фраке. Он взгляделся в упор. Прямо перед ним благолепная, голая, как младенец, была лысина сановника.

Лысины внушали ему страх. В оголенных человеческих головах были беспомощность и бесстыдство. Он ненавидел лысых и курносых.

Он вспомнил, как когда-то громко хлопал один плешивец дурной актрисе, а он сидел сзади, как ему это надоело и как он спокойно хлопнул по лысине. Он был молод и дерзок тогда, полицеймейстер опешил, и он получил странный выговор:

– Что уж это за аплодисман, господа, по лысынам.

Этим он тогда и отделался. С улыбкой он смотрел на теperешнюю лысину.

Вдруг взвился занавес, и человек с лысиной крикнул:

– Bravo!

Тогда, все стой же радостной улыбкой, он спокойно про-

тянул узкую руку и тихо шлепнул по лысине. Откачнулся.

На него выкатились человеческие глаза, голубые, старые, бешеные. Они столкнулись с недвижным взглядом, обращенным на сцену, знаменитыми очками и высоко поднятой знаменитой головой.

Человек задыхался. Он прынул и недоумевал.

Он поерзал на месте и еще раз тревожно и подозрительно посмотрел на Грибоедова. Потом пригладил голову и поглядел в сторону лож.

Грибоедов понял: в неверной темноте человек подумал, что ему почудилось.

Он отвык от театра и был пьян от театра, как человек, давно не пивший, сразу пьянеет от вина.

Шел балет «Ацис и Галатея».

Ацис метался по сцене прыжками из одного угла в другой и прижимал к сердцу руки. Это между прочим помогало ему в прыжках. Музыка швыряла его, куда хотела. Он ходил на носках, и тянулся в струнку, и застывал, и вдруг его снова начинало метать по сцене. Наконец он покружился и упал на одно колено. Перышко на шапочке у него трепыхалось, он громко дышал и улыбался. Пудра валилась у него с носу. Заслышав хлопки, он встал, поклонился в пояс и снова упал на одно колено.

В трико Галатеи, с крылышками за спиной, маленькими шажками выплыла из кулис Катя Телешова, проплыла до Ациса и поскакала дробью по очерченной мелом на полу

линии назад. Поворачивая голову, она проскакала мелким стаккато до другого конца. К хлопкам она привыкла и тотчас, как они раздались, с готовностью присела, как цирковая лошадь.

Ацис сразу же встал с колен.

Но Грибоедов не смотрел на Ациса.

Катя Телешова, которую он знал, как свою грудь и свои руки, приседала на сцене.

У нее были небольшие ноги, коричнево-розовые; уверенные в беспомощности руки; и балетная пена била у ляжек.

Он знал, что она танцует для него, и, когда раздавались хлопки, невольно подражая ей, чуть наклонял голову. Он был уверен, знал, что так она без него не танцевала.

Он прижал к очкам лорнет, потом снял очки, вдвинул лорнет в самые орбиты – так она была ближе.

И так он увидел ее лицо. Оно было простое, почти крестьянское, прекрасное лицо и вместе лицо коровницы. Низкий белый вырез хлынул ему в глаза, как парное молоко. Он помнил этот запах. Нельзя так улыбаться и так танцевать на людях. Катя сошла с ума.

Ацис его раздражал. Со злобой он смотрел, как Ацис поддерживал ее, все было неловко. Он танцевал решительно плохо, у него был вид летающего дурака, особенно во время батtemanов, глупые белые ляжки, самый цвет трико был глуп, томен, нагл. Его средний рост оскорблял Грибоедова, как дурной вкус Кати.

Он тихо свистнул.

– Семени, семени, – говорил он. Впрочем, его прыжки были отдыхом для Кати.

– Невозможно, невозможно, – говорил он тихо, жалуясь. И когда кругом зашевелились, забили в ладоши, он обернулся и, не хлопая, с любопытством посмотрел на партер.

Выходил Ацис, вел за руку Катю и кланялся. Его-то кто вызывал?

После балета свет не зажгли, но театр мгновенно расшатался и закашлялся. Была весна, и простуда спадала только на время представления.

Ставили интермедию, живую картину «Аполлон с девятью музами». Он кусал ногти от злости, идти за кулисы сейчас было невозможно.

И тут театральная машина сжалилась над ним.

Машина, спускавшая глюар с Аполлоном и девятью музами, застопорила в пути. Она остановилась на полпути, показав белые ноги Аполлона и девять пар женских розовых ног. Так они и застряли наверху, смиренно сидя в своем глюаре.

Раздался женский крик – дама испугалась, потом кто-то засмеялся, кто-то вскочил.

Началась суматоха.

Грибоедов знал, что застрявший глюар означает отставку машиниста, что кого-то выгонят: император был чувствителен к этим случайностям. Он не терпел неожиданностей. Сегодня испортилась театральная машина и застряли музы,

завтра застрянет что-нибудь другое и все безнадежно испортится.

Но он сидел и смеялся в платок. Потом пошел из зала, за кулисы.

Потому ли, что порядок уже был восстановлен, потому ли, что в зале была суматоха, – за кулисами Грибоедов никого не встретил. Только ходил витязь с пожарным топориком да двое военных кого-то поджидали.

Катина дверь была открыта. Он вошел в комнату, улыбаясь. Горели свечи. У открытого шкафа с костюмами Катя стояла и, видимо, ждала его.

Тогда он грубо сказал ей:

– Поедем к тебе.

Потом он сказал пустым голосом: «Радость» или что-то другое, слово не вышло, и увидел, как она пошатнулась.

В коридор сразу вошел шум: смех, кашель, французская хрипота, бас, присущий театралу, начался антракт.

Тогда Катя быстро взяла его голову обеими руками, поцеловала в лоб и толкнула к двери.

Сразу же, как мальчик, он выскочил в коридор. Там он превратился в медленный, чопорный фрак, на который озирались, о котором шептались.

В танцевальном зале балет танцевал котильон. Был праздничный спектакль. Пары стояли неподвижно на месте, подняв несколько кверху лица, как лошади, грызущие удила.

Они стояли крест-накрест, и на четырех концах креста па-

ры танцевали по кругу.

Все вертелось вокруг неподвижного, но уменьшавшегося креста, пары отлетали все быстрее, приседая с танцевальной, ненужной вежливостью, а крест все таял. Это была новая модная фигура, она называлась как-то чудно: боа.

Музыканты замедлили, боа присело, расплзлось и пошло вон из зала.

Грибоедов был зол. Катенька была еще занята к концу в русской пляске. Он злился и становился сам себе смешон. Смешным, собственно, было положение: слишком долго сдерживать радость.

В зале устанавливали какие-то столбы, натягивали канат. Маленький итальянец хлопотал возле него, щупал рукою. Это был второй номер – канатный плясун Кьярини.

Серьезный итальянец, оттягивающий конец вечера, привел его в бешенство.

Он повернул и, стараясь не глядеть по сторонам, стал пробираться к выходу. Завидя Фаддея, он вдруг свернул на лестницу и столкнулся с Леночкой.

Тогда, как мальчик, как гвардеец, он схватил ее ладони в свои и повлек за собою. Леночка сделала изумление, и глаза ее стали как сливы. Она была хитра и предалась на волю случая, ничего, ничего не понимая. Она с удивлением дала накинуть на себя салоп и только в карете сказала Грибоедову, глядя на него все теми же невинными сливами:

– Vous ies fou¹⁴. Das ist unmöglich¹⁵.

Это было möglich¹⁶. Фаддей был бескорыстный друг, он никогда не подавал виду. Это было чем-то вроде восточного гостеприимства.

– Lenchen, – сказал Грибоедов и потянулся к ней, – у вас болит голова, вам стало дурно, я везу вас домой.

На улице была ломкая, льдистая грязь. Колеса рассекали ее быстро и ровно, как в дни его молодости.

В дом они вошли крадучись, и теперь уж Леночка им предводительствовала. Прижимая палец к губам в длинном коридоре, чтобы не выскочила тетка, Танта, исполнявшая при Фаддее роль тещи. Она невзначай открыла дверь в кабинет и посмотрела. Грибоедов вошел в кабинет, Леночка опустилась на диван, сливы ее блестели. Она сказала:

– Das ist unmöglich.

Любовь была зла, повторяема, механична, пока смех не раздул ноздри, и он засмеялся.

Высшая власть и высший порядок были на земле. Власть принадлежала ему.

Он тупым железом входил в тучную землю, прорезал Кавказ, Закавказье, вдвигался клином в Персию. Вот он ее завоевывал, землю, медленно и упорно, входя в детали.

И наступило такое время, что все уже было нипочем.

¹⁴ Сумасшедший (*фр.*).

¹⁵ Это невозможно (*нем.*).

¹⁶ Возможно (*нем.*).

Чего там! Не свист дыхания, а разбойничий свист стоял во всем мире.

Он догуливал остатки Стенькой Разиным, были налеты на землю, последние грабежи, все короче и глубже. Какая злость обрабатывала мир.

Наступило полное равновесие – младенческая Азия дышала рядом. Легкий смех стоял у него на губах.

Зеленые занавески Фаддея были прекрасны.

Потом все представилось ему в немного смешном виде: он вел себя как мальчишка, не дождался, удрал и набедокурил. Ему было жаль Фаддея.

И он слегка толкнул в бок младенческую Азию.

Когда Фаддей приехал из театра, Леночка сидела в столовой с обвязанной головой и пила с Грибоедовым чай. Фаддей обрадовался.

Он не обеспокоился тем, что у Леночки сильно болела голова и нужно было даже увезти ее из театра. Он вообще при Грибоедове мало на кого обращал внимание. И, несмотря на головную боль, Леночка исправно разливала чай. Фаддей, казалось, даже стал более уважать ее за внимание, какое ей оказал Грибоедов.

Вот это и было счастье Фаддея.

В его жизни было все: польская скудная молодость, война, которой он боялся, измена и близость смерти, нищенство, съезжая, дружба с квартальными надзирателями, служба в третьем отделении.

Но он вертелся как угорь и спасался, потому что у него был приятный телесный план жизни.

Фаддей был моралист, физиологист.

Он не был ни литератор, ни чиновник. Он был чиновник литературных дел, улавливал веяния и нюхал воздух.

Если бы у этого Калибана не было от природы жажды поест, поспать, побраниться, пошутить соленой пахучей шуткой, он занимал бы сейчас, может быть, крупное место. Но теперь требовалось приличие даже от квартальных, а все, что

он делал, бывало неприлично. В нем жил вкус к скандалам, присущий разоренным и опустившимся польским помещикам, вкус к харчевне, портеру, недоеденной рыбе и шалостям с прислугой.

Грибоедов был его героем, происшествием, его слезой в стакан пива, его чувствительной дружбой.

Он бегал по его делам, занимал для него деньги, пытался напечатать комедию, которую не пропускала цензура, и долго, нахально хвастал им, как своей собственностью, перед журнальными собутыльниками.

Сволочь литературных самолюбий была ненавистна Грибоедову. Он втайне ненавидел литературу. Она была в чужих руках, все шло боком, делали не то, что нужно.

Литературные мальчишки, которые, захлебываясь, читали новые стихи Пушкина и с завистью оспаривали друг перед другом первенство в сплетнях и мелочах. Литературные старцы времен Карамзина, изящные и надменные скопцы с их остроумием и безделками. Наконец, непостижимый, с незаконным правом нежного стиха и грубых разговоров Пушкин, казавшийся ему непомерным выскочкой, временщиком поэзии.

Дружба с Булгариным удовлетворяла его.

Он и по большей части любил людей с изъянами. Ему нравилось в Сашке, что тот карикатурит его. Поэтому, когда какой-нибудь человек был запятнан, или смешон, или оставлен всеми, – он получал право на его внимание.

Сначала он дружил с Фаддеем, потому что тот показался ему самым забавным из всей литературной сволочи, потом из-за того, что эту сволочь стали гнать, и наконец привык к этой дружбе. Фаддей был писатель Гостиного Двора и лакейских передних. Это нравилось Грибоедову. Его предки были думные дьяки. Негритянский аристократизм Пушкина был ему смешон.

Он знал, что поэты, воспевавшие дружбу, зарабатывали на ней, и смеялись над этим. Так зарабатывал свой хлеб Дельвиг, сгоняя друзей к себе в альманах, как на оброк.

Два года назад, потеряв любимую лошадь, он тосковал по ней, как по любовнице, вспоминал ее сизые глаза. Если бы у него был скверный, визгливый пес, он любил бы его, вероятно, больше всех.

И притом всякую покойную жизнь он невольно представлял себе как дом Булгарина: днем суетливые измены, на ходу, из-за угла, к вечеру глупенькая Леночка, прекрасная и готовная, уголья в камине и где-то в глубине громовое ворчание старших, Танга.

Борьба не на живот, а на смерть из-за дома, защита его и потом небольшие предательства того же дома. Жизнь желудка и сердца.

Постепенное увядание кровеносных сосудов, облысение. Фаддей уже был совершенно лыс. Старый щелкун, наездник, он напоминал теперь лавочника своей малиновой лысиной.

Он привез из театра запах табаку и свежие сплетни.

Он накинулся на еду, как голодный вепрь, руками он брал, что полагалось брать вилкой, и, не разбирая, ел.

Во время еды он забывал всех, даже Грибоедова. Он обрабатывал пищу, свернув несколько набок голову, и в движениях его челюстей чувствовалась любовь, пухлые губы, казалось, целовали. Глаза его смотрели неопределенно, были застланы дымкой.

С шумным вздохом он отодвинул тарелки, и на несколько секунд наступил для него полный покой. Он насытился пищей, как любовью.

Грибоедов смотрел на него с беспокойством.

Фаддей отдохнул и нежно его оглядывал. Пухлые губы двинулись снова в путь, они начали обрабатывать моральную пищу.

– Невероятный скандал, – сказал Фаддей с радостью, – Пушкин оказался шантажером.

Он с торжеством оглядел Грибоедова и Леночку.

– Честное слово, – с медленностью священника прижал он руку к груди, – честное слово честного человека.

Беспокойство Грибоедова еще не прошло.

– Я только что узнал из совершенно верного источника... Мне Греч сказал, – добавил он, как бы возлагая ответственность на Греча.

(Ему это не Греч сказал, он все это сам проделал.)

– Пушкин, – начал Фаддей, словно читая по печатному, –

проиграл в карты где-то у Пскова вторую главу «Онегина» Великопольскому. Ты помнишь Великопольского? – кивнул он Леночке.

Леночка отроду не слыхала о Великопольском.

– Великопольский – игрок, и Пушкин проиграл ему уйму денег. Уйму. А тот, между прочим, тоже пописывает стишки. Написал он как-то «Сатиру на игроков». Сам, понятное дело, игрок, и вот написал на игроков. Пушкин взял да ответил. Они этак часто обмениваются с Пушкиным стихами – тот ему напишет, а этот ответит. Греч говорил, что даже было условие: кто проиграет, тот и пишет стишки. Вот Великопольский ему ответил. На ответ.

– Вы что-нибудь понимаете? – спросил Леночку Грибоедов. – Ответил и ответил на ответ.

Фаддей болезненно сморщился. Его прерывали на ответственном месте. Он жалостно посмотрел.

– Александр, милый, я же стишки помню:

Я очень помню, как та-та'-та...

И там еще одна строка, что-то на зе':

Глава «Онегина» вторая
Съезжала скромно на тузе.

Это Великопольский ему ответил. И как честный человек – он, собственно, шалопай, но как человек недурной и даже,

может быть, честный, – он через одного человека велел Пушкину сказать: что, дескать, ничего не имеете против, чтоб отпечатать?

Фаддей сделал благородный жест: склонил голову набок и развел руками с таким видом, как будто ничего другого Велико-польскому и не оставалось делать, как только обратиться к Пушкину с таким письмом.

Письма, впрочем, никакого не было, а Фаддей перехватил стихи и давеча в театре сунул Пушкину.

И вдруг он откинул голову.

– Что же сказал Пушкин? – приподнял он бровь. – Пушкин сказал: запрещу печатать. Личность и неприличность. Я его так в восьмой главе «Онегина» отделаю, что он только почешется. – Это его слова, слово в слово, он при мне это сказал.

– Ты же говоришь, что тебе это Греч рассказывал, – медленно покачиваясь, сказал Грибоедов.

– Греч, но дело было при мне. Теперь ты понимаешь? Орет на цензуру, вольнолюбие да и только, – а сам разве не вводит цензуру? И притом если бы сам не был пасквилянт. А то ведь пасквили и пасквили. А попробуй запретить ему ругаться, – так это стихи, вдохновения, сладкие звуки и молитва. И ведь ввернет в восьмую главу такое, что тот бедняк прямо... – тут он не нашел подходящего слова. – Прямо-таки ходишь и голову гнешь, не то пропадешь и не откупишься.

«Лелеешь ты свои красы», – Грибоедов сказал углом рта,

сощурил глаз и покосился на Леночку.

– Нет, нет, это не он написал, – захопотал Фаддей и вдруг обмяк, – он мне сам клялся, что не он, под честным словом, это кто-то другой, это тот, знаешь, как его...

Он забыл или не знал.

Божился он, как лавочник. Фаддей же был поэт лавок.

Его настоящая жизнь были покупки, расхаживание по лавкам. В чудесных цветных шарах аптек была его Персия. Соленые огурцы в лабазных кадках умиляли его запахом русской национальности. Неприметно он стал ближе к языку лавочников, чем хотел бы. Он торговался с ними из всякой мелочи и с удовольствием принимал подношения.

Все вместе представилось на миг Грибоедову нелепым. Он только что обманул своего друга, который в этот день продал двух человек самое малое, а теперь они пьют чай, он посмеивается над хозяином, и разливает им чай – третья, Леночка.

Он ворвался в квартиру, разбойником пролетел по лебяжьему пуху милых грудей – и вот квартира неподвижна.

Ему было немного жаль Фаддея. Чтобы несколько возвысить его, он стал жаловаться тонким голосом:

– У тебя журнал, сплетни, хорошая жизнь, Калибан Бенедиктович...

Но Фаддей с истинной жалостью смотрел на него. Жалость его была рассеянная.

– А твоя ферзь, – жаловался Грибоедов, – опять со своим

Сахаром Медовичем...

Фаддей заерзал и покосился на Леночку. Дело шло об его страсти – хористке, которая ему изменяла, сам же Фаддей Грибоедову это выложил.

– Нет, братец, – лепетнул он, – это не то, это не моя ферзь, у меня и нет ферзи – вот это твоя ферзь, так она правду теперь с этим, с Сахаром с Медовичем, с преображенцем.

Грибоедов обжегся чаем. Он вспомнил, как Катя поцеловала его в голову. Промелькнул витязь с топориком, военные. Фаддей врал о Кате и врал правду. Грибоедов стал страшен и жалок. Жидкие волосики топорщились на висках.

Качнулся на стуле и с недоумением оглядел недоеденную телятину.

Картина колебалась.

И вдруг не выдержала Леночка. Она уже не переводила глаз с мужа на друга. Ее немецкий пухлый рот передернулся по-старушечьи, стал в маленьких морщинах, она все обращала к Грибоедову страдальческие сливы глаз и вот грубо закричала, стала сползать со стула. Грибоедов и Фаддей несли ее на диван, а она мелко дрожала губами, лепетала какую-то дрянь.

Уже отворилась дверь, и к дивану волнообразно метнулась большая Танта, встрепанная со сна. Уже квартира наполнилась кошачьим запахом валерианы.

Фаддей полоскал какой-то стакан, ловко и быстро.

Грибоедов ушел в кабинет.

Когда Фаддей, притворно отдуваясь, пришел к нему и сказал какую-то плоскость:

– Женские штуки, ничего не поделаешь, – Грибоедов сидел за столом и быстро листал какую-то книгу. Потом он тяжело встал, взял Фаддея за плечи и, сжав зубы, смотря без отрыва очками, в которых были слезы, на потное безбровое лицо гаера, сказал:

– Умею ли я писать? Ведь у меня есть что писать. Отчего же я нем, нем, как гроб?

*Ежесекундно уходит из жизни по одному
дыханию.
И когда обратим внимание, их осталось уже
немного.*

Саади. Гюлистан

Ночью он дал себе отпуск.

Так было на Востоке, где торгуются для вида, а между тем высоко ценят каждый час лени и хорошо проведенную ночь. Он привык так жить, и здесь, вероятно, был секрет, почему его тело было молодо, а лицо старело.

Он творил вечерний намаз, сидя в чужих, но мягких креслах, вытянув длинные ноги в туфлях, прихлебывая кофе.

Сашка был вежлив и не говорил ни слова. Заговори он, Грибоедов все равно ему ничего не ответил бы.

Он гнал от себя Нессельрода, гнал от себя Фаддея, Леночкины глаза, ноги танцовщицы.

Гнал от себя встречу с Пушкиным, разговор о нем.

Он давал себе отпуск.

Но глаза возвращались, возвращались Нессельрод и Пушкин, и опять в совести начинало пробиваться какое-то неоткрытое воспоминание.

Счеты не сводились.

И он закрыл глаза и стал медленно читать по памяти стихи Саади, утешавшие его не мыслями, но звуками:

Хардам аз омор миравад нафаси,
Чун негах миконам наманд баси.

«Ежеминутно уходит из жизни по одному дыханию. И когда обратим внимание, их осталось уже немного». Сашка лег спать.

Хардам аз омор...

Счеты сводились.

Был младенческий секрет, о котором он забывал утром: уткнуться лицом в подушку, тогда начинались переходы верблюдов по свежим белым горам.

Они сменялись лицами, из которых ни одно не было знакомо, лица – сном.

Он ненавидел крикливых любовниц, лишавших его этой ребячьей радости и по большей части любивших болтать в постели.

Крикливый пол ничего не понимал.

Хардам аз омор...

– Ежеминутно уходит из жизни...

Нумерной принес завтрак и удалился, первое столкновение постояльцев с чужим лицом.

Потом он снова постучал в дверь.

Грибоедов терпеть не мог нерасторопной прислуги.

– Войдите.

Никто не входил.

Он сам открыл дверь. «Свинья», – хотел он сказать. Его приветствовала водянистая улыбка и глаза, выразительные, как морская вода.

В его дверь стучался доктор Макниль. Он стоял перед ним с тем выражением лица, которое называлось в тебризской миссии улыбкой, и молчаливо говорил Грибоедову:

– А вот и я.

Грибоедов позеленел. Он постоял перед англичанином, загораживая вход.

Вдруг он развеселился.

«Вот и тебя черт принес», – подумал он с вежливой улыбкой и сказал по-английски:

– Какая встреча! Рад вас видеть, дорогой доктор. Грибоедов придвинул кресла и, по-английски сберегая слова в разговоре, молча указал на завтрак.

Но англичанин отказался от завтрака. Он прикоснулся жестом доверия к рукаву Грибоедова, как к камню, и произнес

тихо и весело:

– Я ваш сосед. Рядом.

– Как странно. Когда вы успели, доктор?

И подумал по-русски: «...сидел бы себе в Тебризе».

– Меня послал лорд Макдональд, – ровно сказал англичанин, – с поручением ходатайствовать о наградах некоторых чинов нашей миссии.

Макдональд был английский посол в Персии.

– Так вас ведь уже наградили, доктор...

За посредничество при заключении Туркменчайского договора английская миссия была награждена орденами.

– Свыше меры, – скучно ответил доктор. – Но забыли препроводить бумагу королевскому правительству с просьбой позволить ношение орденов в Великобритании. Без этого они недействительны.

– И поэтому вы скакали из Тебриза в Петербург?

– Вы знаете, мистер Грибоедов, то высокое значение, которое лорд Макдональд придает орденам. Полковник и леди шлют вам свои лучшие приветы.

– Я благодарен полковнику и леди.

– Ваша Москва – превосходный город, – сказал англичанин без всякого выражения, как говорят учителя в школах. – Петербург меня радостно удивил своим гостеприимством. Мистер Нессельрод отличается любезностью и широтой взглядов. Он один из величайших государственных умов России.

– Он болван, – сказал вдруг громко Грибоедов и покраснел.

– A bold man¹⁷.

И потряс головой с видом живейшего согласия.

– Вы счастливы, – сказал равнодушно доктор Макниль, – имея такую родину, и такая родина счастлива, имея таких людей.

– Вы кажетесь усталым, доктор, и говорите подряд все комплименты, какие знаете.

– Я, кажется, действительно устал, мой милый друг, – поглядел на него морской водой доктор. – Путешествие по таким пространствам и по таким ничтожным поводам. Что мне Гекуба?

– Вы цитируете Гамлета?

– У каждого англичанина есть право на сумасшествие, – сделал доктор гримасу. – У других наций, впрочем, тоже.

Англичанин говорил ровным голосом, не задумывались над ответами. Взгляд его не выражал решительно ничего. Сюртук, слишком обтягивавший, и тугие воротники были, пожалуй, дурного вкуса, но в Тебризе и Тегеране это было незаметно. Там со своими клистирами, припарками и порошками слонялся он целыми днями по гаремам шаха и Алаяр-хана в Тейрани. Там он притирал и кормил слабительными всех этих бесчисленных жен, и Макдональд, умелый временный посланник, терпел его.

¹⁷ Смелый человек (англ.).

Россия завоевывала Восток казацкой пикой, Англия – лекарскими пилюлями и деньгами. Безвестный лекарь Гюзератской компании, вылечив счастливо одного из индостанских державцев, доставил Англии те владения, которые потом выросли в Ост-Индию. Макниль колдовал над шахскими женами в Персии. Он совершенно вытеснил в гаремах персидского хаким-баши с его сладкими фантастическими пилюлями.

Теперь он казался недовольным, и это смягчало Грибоедова.

– Я говорю с вами как частное лицо, – говорил доктор, будто читал приходо-расходную книгу. – Я прошу вас обратить на это внимание. Я вас не задерживаю, дорогой Грибоедов?

Грибоедов посмотрел на часы. У него оставался час времени. Он был приглашен на экзамен в Школе восточных языков, что была при Иностранной коллегии.

– Вы, вероятно, торопитесь на торжественный экзамен в Восточном университете, – сказал англичанин, – я имел особую честь получить туда приглашение, но я простужен, и это лишает меня счастья присутствовать на публичных торжествах, а мое невежество в языках делает меня там бесполезным.

Грибоедов сморщился.

«Кого только не приглашают на все эти экзамены, только

будь иностранец».

– Я тоже не большой охотник до этой чести, тем более что этот Восточный университет – вовсе не Оксфорд.

Англичанин улыбнулся самой неопределенной улыбкой.

– А вы знаете, – спросил Грибоедов, – наш казак Платов – почетный доктор вашего Оксфорда?

– Кто? – спросил Макниль, и лицо его стало опять неподвижно.

– Платов, – улыбнулся Грибоедов, – Платов, казачий атаман, лорд казачий.

Макниль вспоминал.

Наконец он раскрыл слегка рот и мотнул головой.

– Вы правы. Я помню. Я его четырнадцать лет назад видел в Париже. На нем были бриллианты, на сабле, на мундире и где-то еще. На казацкой шляпе. Платов. Я забыл его имя. Это был русский Мюрат.

«Вот и в Париж он таскался».

– Он был столь же мало Мюратом, мой милый доктор, как вы – Гамлетом. Он был казак и вместе доктор прав Оксфордского университета.

Но англичанин и с этим согласился. Грибоедов смотрел на него.

Хотел ли Макдональд освободиться от своего лекаря и поэтому гонял его по пустыкам из Тебриза в Петербург? Или сам лекарь, чего доброго, надумал проситься на русскую службу? Ибо не могло того быть, чтоб единственно из-за ду-

рацких орденов он прибыл в Петербург. Но с англичан, однако же, это могло стать.

Английская легкая хандра угнетала лекаря. Он казался откровенным и сказал нечто постороннее:

– Я не учился в Оксфорде, я кончил медицинскую школу. Меня заставила удалиться на Восток любознательность.

Он ухмыльнулся. Грибоедов ждал спокойно.

– Но я долго думал: чего ищете на Востоке вы? Вы удивляетесь моей откровенности? Я врач. Восток привлекает стариков вином, – говорил лекарь, – государства – хлопком и серой, поэтов – гордостью. Они горды своим изгнанием, хотя обыкновенно при этом их никто и не думал изгонять. Наш несчастный лорд Байрон погиб по этой причине.

– Байрон погиб более по вине ваших и его соотечественников. Вы слишком сегодня порочите передо мною Восток, – сказал Грибоедов.

Англичанин пожевал губами.

– Вы правы, – кивнул он равнодушно, – я слегка преувеличиваю. У меня сегодня ностальгия.

Он брезгливо оглядел номер.

– Меня никто не просил говорить вам то, что я вам скажу. Примите это во внимание. Это не входит также в мои обязанности. Просто, когда два европейца встречаются среди дикарей, они обязаны оказывать друг другу услуги.

Грибоедов терпеливо кивнул.

– Я лечу у Алаяр-хана его жен. Англичанин закурил си-

гару.

– Я вас не беспокою? Это дурная привычка, от которой трудно отделаться. Это гораздо лучше, впрочем, чем ваша водка.

От нее болит голова и происходит желудочная колика. Граф Сегюр или кто-то другой утверждает, что Наполеон проиграл вам кампанию из-за вашей водки. Его солдаты погибали от нее, черт ее возьми.

Тут только Грибоедов заметил, что англичанин слегка пьян. Он говорил слишком ровно, как бы читая свои трезвые мысли, и был многословен. Его, видимо, мутило, ровно и непрерывно.

– Итак, я лечу этих жен, и эти леди мнительны. Они не любят клистиров – они предпочитают пилюли на сахаре albi и розовом экстракте. Но пилюли вообще мало помогают. Предупреждаю: эти леди мнительны, – а их мужья несчастливы и ищут причин несчастья, вот что я хотел сказать.

– Кто же, по-вашему, виноват? – спросил Грибоедов.

– Наше положение не лучше вашего, – медленно ответил Макниль. – Мы должны облегчать персиянам и вам расплату по вашему миру. Я знаю вас и знаю персиян. Мы ничего не выиграем и многим рискуем.

– Хотите, я скажу вам, что вы выиграете? – любезно сказал Грибоедов.

Англичанин подставил ухо.

– Красную медь, – лукавил Грибоедов, – хорасанскую би-

рюзу, серу, оливковое масло...

– Оставим этот разговор, дорогой Грибоедов, – сказал серьезно Макниль, – мне надоела Персия, и я хочу просить о переводе. А вам, кажется, Персия в этот раз понравилась?

Он посмотрел на часы и встал наконец. Грибоедов ждал.

– Еще один дружеский вопрос. Я давно не был в России. Ваш Нессельрод – любезный государственный ум, но получить какой-нибудь вкус от его разговоров я не сумел. Он слишком для меня тонок.

Грибоедов захохотал.

– Bravo, доктор!

– Я люблю ясность. У нас есть Ост-Индия. До сих пор я думал, что другой Ост-Индии нет и быть не может, – англичаниндохнул на него табаком, – но у вас великолепная природная конница – киргизы – и если вы захотите немножко... углубиться... И с другой стороны, почему бы вам в самом деле не устроить своих колоний? Мальта на Средиземном море против нас была тоже недурная мысль императора Павла. Вот в чем вопрос. А Нессельрод так тонок, и все здесь так молчаливы... Потом он засвистал марш и махнул рукой:

– Мы еще увидимся до Тебриза. Вы ведь поедете в Тебриз?

Грибоедов ответил ему:

– Я не поеду в Тебриз, но, дорогой доктор, я сейчас поеду со двора, на экзамены.

Макниль был доволен.

– А я на смотр. У вас война, экзамены, смотры. У вас весело.

Они вышли вдвоем на Невский проспект. Коляски носились, тросточки мелькали.

– Bond-street! – сказал Макниль. – Можно вам позавидовать, что вы здесь остаетесь. Здесь так весело! Думать некогда!

– Милостивые государи! Семирамида была великая стерва. В передней стоял шум.

Семирамида, может быть, и в самом деле была женщина дурного поведения, но высокий человек, который ее ругал, был странен. Шуба волочилась, как мантия. Рядом стоящий древний старик, со звездой на груди, согнутый в прямой угол, убеждал высокого. Но высокий крепко сжимал в руках цепь, на которой был привязан большой, спокойный пес, и не сдавался. Он буянил именно из-за пса, которого старик не хотел пропускать на экзамен. Как он дошел до Семирамиды, Грибоедову было непонятно.

Между тем всякий разговор, подслушанный в конце, необычен.

Академик Аделунг, преклонный старик, был директор школы, высокий молодой человек был известный профессор и журналист Сеньковский. Он обычно водил на лекции пса. Это было его вызовом и презрительным вольнодумством, похожим на старческое чудачество. Тайный советник был молодой духом немец, молодой профессор был старый, как Польша, поляк.

Поэтому молодой девяностолетний немец начал до Грибоедова доказывать древнему безбородому поляку, что пес будет мешать на экзамене.

– Он воспитанный и этого никогда себе не позволит, – сухо ответил Аделунгу Сеньковский.

Сученой старомодной грацией академик привел пример того, как растерзали псы подглядывавшего за Дианой Актеона.

– Зато Пирра выкормила сука, – сказал профессор сурово, держа за цепь пса, – а купающейся Дианы мы на экзаменах, увы, не увидим.

Академик не сдавался и нашел какую-то связь между храмом Дианы Эфесской и школой восточной мудрости.

Но профессор возразил, что школа из всех семи чудес света скорее напоминает висячие сады Семирамиды по шаткости своего положения.

Академик вздумал обидеться и буркнул что-то официальное про Северную Семирамиду, поощрявшую, однако же, в свое царствование науки. Положение школы, управляемой им, весьма надежно, особенно имея в виду политические интересы.

Тут профессор, вместо того чтобы тоже принять официальный вид, прекратить спор и сдать пса сторожу, поднял оскорбительный крик о Семирамиде и упомянул что-то об ее конях.

Увидев Грибоедова, прямоугольный академик бросил профессора и устремился к дипломату.

Он жал ему руки и говорил, что польщен и вместе обеспокоен тем, что дипломат такой учености, какая редко встре-

чается, будет судить юных питомцев, пытающихся стремиться вослед ему, но надеется, что суд его будет благосклонным.

Грибоедов с великой вежливостью кланялся и удивлялся живучести академика.

Академик не выпускал из костлявых рук его руки, как бы позабыл кончить рукопожатие, и говорил, что сын его, молодой человек, изучивший за границею восточные языки и медицину, жаждет познакомиться с ним.

Тотчас же вынырнул и сам молодой человек. Он был мал, лыс, в очках, и ему было, самое малое, сорок лет. Лицо у него было насмешливое. Он подал руку Грибоедову и сморщился весело и неожиданно.

И Грибоедову захотелось пощекотать его, память, посмотреть, как он будет смеяться.

Профессора Сеньковского все оставили.

Это неожиданно на него подействовало. Он молча сунул сторожу своего пса и стал раздеваться. Разоблаченный из мантии, он был неправдоподобен. Светло-бронзовый фрак с обгрызенными фалдочками, шалевый жилет и полосатый галстучек выдавали путешественника-иностранца. Гриделеневые брючки были меланхоличны, а палевые штиблеты звучали резко, как журнальная полемика.

Так он нарядился на официальный экзамен. И, грустно склонив набок голову, он подошел к Грибоедову.

Вот он, ветренная голова. Вот он, новое светило, профессор, писатель, путешественник. Новый остроумец, который

грядет заменить старых комиков двадцатых годов, сданных сразу в архив, глубокий ученый, склонный к скандалам со псом.

Грибоедов с какой-то боязнью сжал его руку. Рука была холодная, это было новое, незнакомое поколение.

И экзамен начался.

Родофиникин, все хворавший, прислал маленького черного итальянца Негри сказать слово от министерства.

Итальянец сказал несколько слов торопливо, всем видом показывая, что он человек наметанный и сам понимает, что задерживать экзамен речами невежливо.

Профессура, сидевшая за длинным столом, была небрежным смешением Европы и Азии. Смешливый доктор, седой и красный француз Шармуа, перс Мирза-Джафар и какой-то татарин или турок Чорбахоглу.

У сорока экзаменующихся учеников был вид недоверчивый, заморенный и жадный. Их отделяла пропасть от стола, за которым сидели знаменитости. Речи Негри, отвечавшего академика и болтнувшего вне очереди Шармуа были для них просто пыткой перед казнью.

Гостям – дорогим почетным и знаменитым гостям, – как сказал Шармуа, предложили экзаменоваться.

Грибоедов отмахнулся, и его оставили в покое.

Зато Сеньковский сразу же принялся за дело и быстро вошел во вкус. Резким криком он задавал вопросы ученикам, которых, как магнит, тянул к столу неразборчивый голос ди-

ректора.

– По какой причине бедуинские стихи хороши, по собственному мнению бедуинских поэтов?

Ученик говорил тихо и обиженно, что, по мнению бедуинских поэтов, их стихи хороши по той причине, что они кратки и хорошо запоминаются.

Сеньковский фыркнул.

– Не то. Главной причиной бедуины выставляют то, что у бедуина не бывает насморка.

Ученик был поражен.

– Какой синоним в поэзии аравитян есть для слова «счастье»?

Ученик запомнил.

– Все, что низменно и влажно, – кричал Сеньковский, – у них довольство и счастье. Все, что холодно, – превосходно.

Лицо у Шармуа вытянулось – это был его ученик. Все, за исключением Грибоедова и доктора, были недовольны. Придираться на официальном экзамене было отсутствием государственного такта. Грибоедов ждал, что будет дальше. Доктор с удовольствием смотрел на заморенного ученика.

– Кто лучше пишет стихи, оседлые и спокойные аравитяне или же бродячие и воинственные? – кричал в воздух Сеньковский.

– Оседлые и спокойные, – ответил благонаравно ученик.

– Кочевые, – кричал в воздух Сеньковский. – Разбойники, нищие, воины. Поэты аравитян презирают оседлых, они на-

зывают их толстяками, что на языке сухого, тощего бедуина значит: трус, лентяй, мерзавец. Перейдем к текстам, – крикнул он, выругавшись.

Шармуа с татаринном и персом успокоились.

Так начались в невыразительной министерской зале арабские зияния и удушливые придыхания персидских гласных.

Появились Мугальгиль, утончитель речи, бегуны Шанфари и Антар из поколения Азд и сам Амру-ибн-Кельтум.

«...Когда вестники смерти произносили имя, я закричал им: „И земля еще не трясется? И горы еще стоят на своих основаниях? О мой брат, кто, как ты, мог бы возбуждать и вести всадников в величайшие опасности! При тебе, как у юных дев окрашены пальцы розовым соком хены, так у каждого всадника конец копья обагреной вражеской кровью!“

Сеньковский прерывал бормотание учеников и сам кричал, захлебываясь, старые слова.

Он кричал словами Шанфари:

– «Отвяжите ваших верблюдов, уезжайте, не ждите меня! Я пристану к обществу диких зверей, что в пещерах и скалах! Все готово к вашему отъезду. Луна освещает пустыню. Верблюды оседланы. Подпруги натянуты. Вы можете сразу пуститься в путь. Ждать вам нечего. А я остаюсь здесь, я остаюсь здесь один!» – Он ударил себя в грудь.

Лицо профессора надувалось все более, и склизкие глаза останавливались!

Как странно! Во дворце, на параде все было детской иг-

рой, нарочно разыгрываемой неизвестно для чего, – здесь собравшаяся так же неизвестно для чего разноплеменная банда учителей и учеников наполняла воздух убийством и Востоком. Верблюды кочевали по министерскому залу.

– «Копье мое прокладывает путь, – читал уже другой, бойкий ученик текст Антара, – ко всякому... вернее, к каждому храброму сердцу, и сраженного врага, как заколотого барана, я отдаю на съедение диким зверям...»

– Довольно. Прочтите Лебида, – хрипло отвечал Сеньковский. Он действовал как восточный деспот и, не обращая внимания ни на Аделунга, ни на Шармуа, – вызывал и кричал.

– «Лился дождь из всякого утреннего и ночного облака, – переводил ученик, – приносимого южным ветром и отвечавшего другому облаку треском».

– Неправда, – закричал отчаянно Сеньковский, – так нельзя переводить арабов. Должно читать так: «Лился крупный, обильный из всякого утреннего и ночного, несомого южным и отвечавшего другому треском». Арабы не любят предметов и только предоставляют догадываться о них по признакам.

Академик Аделунг спал. Доктор весело смотрел на невиданное побоище.

Вдруг Грибоедов протянул вперед руку.

– Прочтите, – сказал он улыбаясь, – из «Полистана» рассказ двадцать семь, конец.

Сеньковский остановился с открытым ртом.

– «Или нет более честности в мире, – читал ученик, – или, быть может, никто в наше время не исполняет ее условий. Никто не выучился у меня метанию стрел, чтобы под конец не обратить меня в свою мишень».

– Очень изрядно, – сказал, улыбаясь, Грибоедов. Сеньковский съезжился и покосился на Грибоедова.

– Прочтите, – крикнул он вдруг, – из «Гюлистана» стихи из рассказа семнадцать.

– «Не подходи к двери эмира, везира и султана, не имея там тесных связей: швейцар, собака и дворник, когда почуют чужого, – один хватает за ворот, другой за полу».

– Передайте по-русски лучше, – сипел, надорвавшись, Сеньковский.

Ученик молчал.

– По-русски это передано в прекрасных стихах, ставших уже ныне пословицей, – сказал Сеньковский важно:

Мне завещал отец:

Во-первых, угождать всем людям без изъятья —

Слуге, который чистит платье,

Швейцару, дворнику, для избежанья зла,

Собаке дворника, чтоб ласкова была.

И профессор сжался в ком с отчаянным видом.

Грибоедов насупился и посмотрел на него холодно.

Но с отчаянным вызовом сжавшийся в ком Сеньковский,

с затопорщившимся галстучком, на котором уныло торчала булавка – эмалевый купидон, – злой и какой-то испуганный, одинокий, вдруг стал до крайности забавен. Грибоедов сказал с открытой, почти детской улыбкой:

– Иосиф Иоаннович, вы слишком строги.

Разноплеменная профессура мягко улыбалась. Крики разбоя и жесты деспота становились невозможны. Академик очнулся и тоже улыбался.

– Сознаюсь, сознаюсь, – сказал томно Сеньковский, – каюсь, Александр Сергеевич, – он еще пожеманился.

И все кончилось мирно.

– Переведите мне, – говорил в нос, но очень любезно Сеньковский, – из Ааша.

Он протянул: «А-а-ша» уже совершенно по-светски, даже как-то по-дамски.

– «Как ослепительна белизна ее тела, – читал высоким голосом ученик, – как длинны и густы ее волосы. Как блестят ее зубы. Медленна и спокойна ее походка, как шаг коня, раненного в ногу. Когда она идет, то величественно колеблется, подобно облаку, которое тихо плавает в воздухе. Звук ее украшений как звук семян ишрика, качаемого ветром».

– «Она сложена так нежно, – грустно прервал его Сеньковский, – что даже ни разу не может посетить своей соседки без усилия и напряжения».

– «Когда она немного поиграет со своей подругой, все ее тело приходит в трепетанье», – добавил боязливо ученик.

– «Ах, – вздохнул Сеньковский, – собственно, уа, – едва я увидел ее, тотчас и полюбил. Но, увы, – покачал он головой, – она пламенеет к другому. Так делим мы все одинаковую участь, – мелко покачивал он головой, – так чувствуем все мучения любви, и каждый, – он поучительно повысил голос и сунул пальцем в воздух, – или, вернее, всякий попадает в те сети, которыми сам опутывал других».

– «Я томлюсь желанием...» – начинал ученик.

– «...видеть, – прервал его Сеньковский, – раскрашенные руки любезной...» Очень хорошо. Можете садиться.

В министерской зале, где происходил экзамен, боевой клетот сменился воркованием.

Шармуа ощущал официальное, щекочущее довольство, перс и татарин сидели смирно, древний академик, вероятно, не думал ни о чем. Студенты смотрели, не отрываясь, на легкого человека, неожиданно явившегося им на спасенье. Грибоедов беззаботно слушал сиплого Сеньковского.

А в окнах был невнятный март, а слова Ааши, которые коверкали профессор и ученики, шли легкой походкой, колеблющейся, как ишрик, – какое это дерево? – Раскрашенные руки любезной, шаг коня, раненного в ногу.

Весь Петербург болел насморком. На Исаакиевской площади, которую они проходили, снег был мокрый, сизого цвета, ноздреват. Небо было белесое, чухонское.

Леса, беспорядок и щебень; мокрые доски, старческого и безнадежного вида. Три поколения уже видели эти леса вокруг церкви, которая никак не хотела стать на болоте. Покрытая черными холстами, лежала колонна, как труп морской рыбы времен потопа.

– Завтра будут ее поднимать, – сказал доктор, – будет торжество. Уже по всем гошпиталиям известили, чтоб были готовы. Предполагается, что будет раздавлено несколько людей.

– Пороки в архитектуре, – заметил Сеньковский. – Какая колонна – но отойдите к бульвару, и вся церковь – игрушка. В Египте строили лучше, грубо, но с более полным понятием. Притом же церковь строится на сваях и лет через сто непременно погрузится в почву.

– Может ли это случиться?

– Разумеется, – сказал Сеньковский с удовольствием. – Целые государства древности, возможно, бывали сметены, или сожжены, или утопали. И не увидишь более ни сих, ни оных.

– Однако ж мы довольно знаем и словесность древнюю и художества?

– Нимало. Древние Венеры, например, – сказал Сеньковский томно, – нас привлекает в них что? Их белость. А древние Венеры были покрашены, как сапоги, – сказал он с огорчением, – и только потом уж облупились.

Он притопнул своими новыми штиблетами, отряхая грязь. Пес увлекал профессора.

– И прибавьте еще действие атмосферической влажности.

– Вы изучаете древности? – спросил Грибоедов.

– Так же, как геологию и физику. Говоря в собственном смысле, я музыкант.

Церковь, которая строится десятилетиями, с тем чтобы через сто лет провалиться сквозь землю, младенчество и дряхлость, черное таяние снега, во всем недоконченность, и шагающий рядом человек с его обширными и ненадежными познаниями. И этот утомительный громозд сравнений!

Сеньковский был геолог, физик, профессор арабской словесности, и все ему было мало.

Пес увлекал профессора.

– У вас фортепьяно какой, – спросил Грибоедов, – Плейеля или с двойной репетицией?

– Разве может меня удовлетворить какой-либо фортепьяно, – сказал в нос Сеньковский. – Фортепьяно стучит, и только. Он отжил свой век, нынче потребны более сильные инструменты.

– Это почему же?

– Ибо требуется большая звучность. Я организую соб-

ственный инструмент. В нем восемь клавиатур. Он называется клавио-оркестр.

– И что же, как играет ваш оркестр?

– Он не совсем еще dokonчен, – сказал неохотно Сеньковский.

– А что вы на нем играть будете?

– Но, бог мой, все то же, что и на фортепьяно, – мрачно ответил Сеньковский.

Вдруг он взял под руку Грибоедова и заговорил отрывисто, ослабив гнилые зубы:

– Я презираю в Петербурге всех – всех, кроме вас. Давайте оснуем журнал, я был бы у вас сотрудником. Путешествия, ученые статьи. Иностранные романы для дураков. Мы... все журналы опрокинем... Мы... вы... – он задохнулся, – вы...

Грибоедов пожал плечами.

– Осип Иваныч, есть в мире неприятное ремесло, это журналы. Я давно отшатнулся, отложился от всякого письма. Завоевать русские журналы – разве на это станет охоты? И для чего стараться.

Профессор Сеньковский судорожно метнулся, толкнулся назад, наскочил на пса, стал в позицию перед Грибоедовым.

– Простите, – жеманно и медленно сказал он, приподнимая светлую шляпу с ярким бантом, – Александр Сергеевич, свидетельствую мое глубокое почтение.

И быстро пошел прочь, волоча по грязи шубу, увлекаемый псом. Скоро он пропал в петербургском тумане.

Грибоедов посмотрел на доктора. Крепыш стоял и улыбался всеми бороздами красного личика.

– Дорогой доктор, – сказал Грибоедов с удовлетворением, – мне скоро потребуются, может быть, люди, веселые, как вы. Согласны ехать со мною в одно несуществующее государство?

– Всюду, куда угодно, – ответил доктор. – Но я не веселый человек.

Как привлекает кошек тянущий запах валерианы, так он тянул к себе людей. Когда он пытался жить оседло, вокруг него никогда никого не было. Должно было выйти за литературу, за столичную жизнь, размахнуться Кавказом и Персией, до конца износить легкое, детское сердце, чтобы люди почувствовали острый запах судьбы вокруг человека. Только когда становится слышен этот запах, люди, не зная почему, бегут на этого человека, как тот мотылек Саади, которому лестно было мчаться на огонь.

Они толклись вокруг него, не зная, что с ним делать, чтобы унять мешающее им беспокойство; Сеньковский предлагал ему журналы; Фаддей – спокойную жизнь; его радость, беспричинную, как у всякого человека, они принимали за какую-то таинственную, значительную удачу в неизвестных им делах; его молчание наполняли мыслями, которых у него в помине не было, а когда они надоедали ему и он с беспомощной вежливостью скрывался в соседней комнате, они умно переглядывались.

Это называется славой.

Бедная тень нервного офицера Наполеона Бонапарте была когда-то так заполнена людскими глазами. А Бонапарте упал в обморок в Совете Пятисот и только потом ухватил рукой секрет: математику и солдатское легкомыслие. Он то-

же учился на театре, и Тальма был его учителем в отрывистом, даже косноязычном витийстве, которое казалось людям простым и торжественным.

В тридцатых годах заочевали по Европе виртуозы, полководцы роялей, с безвредными, но шумными битвами. Их слишком черные фраки и слишком белые воротники были мундирами, надетыми на голое тело. Все эти гении были без белья и без родины. Полями сражения были фортепьяна Эрара, Плейеля или Бабкока.

У Грибоедова была родина.

Как он любил ростовские и суздальские лица, как ненавидел петербургские, выглаженные и мятые, как воротники. Все же свою жизнь он проводил не в деревне, а на больших дорогах и в персидских, ветром обитых, дворцах.

Ветер гнал его. И пообносилось в пути белое, тонкое, дворянское белье, тканное крепостными матушки, теми самыми, что подняли однажды бунт.

Он не соглашался ни на журнал, ни на спокойную жизнь.

Вот и теперь, когда он вернулся к себе в номера, – там торчало бог знает сколько людей. Они ждали его давно и поэтому расположились удобно, болтали, курили, как будто он уже умер и стесняться его не приходилось.

Он жал руки всем и с каждым говорил просто.

Молодому генералу, который приходился дальним родственником Паскевичу и называл его «mon cousin», он тоже отвечал: «mon cousin»; с молоденьким дипломатом был отечески вежлив и предупреждал его, чтобы он, если вздумает ездить на Восток, не доверялся славе о жарком климате, а брал непременно шубу, иначе продрогнет; начинающему поэту обещал прочесть его стихи, а к трем неизвестным людям, которые просто открывали на него рты, относился свободно, как к хорошей мебели.

Он покорился им, потому что скоро уезжал, и даже в душе не посылал их к черту.

Все-таки обрадовался, когда Сашка доложил, не глядя на гостей, что в кабинете лежат письма. С час как принесли.

Он сделал жест, который означал не то: «сами видите, дела», не то: «делайте, что хотите», – и пошел в среднюю комнату.

Действительно, были письма – четыре, пять или больше. Длинная розовая записка с лиловым сургучом, от Кати:

«Милый друг. Я залилась горькими слезами сразу после вчерашнего спектакля. Знайте, что такое обращение с женщиной ужасно! Я не хочу совсем вас более видеть! И если б вы захотели ко мне заехать, все равно вам не удастся, потому что я занята с 11 до 2 каждый день беспрестанно, а с семи уже в театре. Итак, прощайте! Навсегда! Вы ужасный, ужасный человек!!

Е. Т.»

Грибоедов расхохотался! Какая таинственность! какой ужас! младшие классы театральной школы!

Он посмотрел на розовую записку с разломанным сургучом и положил на стол. С двух до семи каждый день беспрестанно было вполне достаточно времени.

Потом ему показалось, что он ив самом деле боится встретиться с Катей. Женщины слишком долго оставались молодыми, время их не касалось; ему было заранее скучно. Он решил, что будет держать себя с Катей чрезвычайно почтительно и подурочит ее. Эта мысль ему очень понравилась.

Длинное письмо от Леночки было написано по-немецки. Она тоже с ним прощалась и тоже плакала. Грибоедову было жалко Леночку. Он сунул письмо в карман. Леночка расплачивалась за других, она кого-то напоминала Грибоедову, чуть ли не мадонну Мурильо из Эрмитажа?

И взглянул на третью печать.

Третья печать была персидская, письмо было в неуклюжем конверте, и надпись, с затейливыми росчерками, была:

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
РУССКОМУ СЕКРЕТАРЮ
ГОСПОДИНУ
АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ
ГРИБОЕДОВУ

Русский секретарь нахмурился и сорвал печать. – Это письмо кто принес? – спросил он у Сашки.

– Доктор оставили.

– Какой доктор?

– Английский, – важно отвечал Сашка.

– Так вот, – медленно сказал Грибоедов, – если ты наперед-ки будешь принимать от этого английского доктора письма или еще что-нибудь, так будет тебе напрегай. Понял теперь?

– Вглядь ничего-с, – равнодушно ответил Сашка.

– И дурак, – посмотрел на него с огорчением Грибоедов, – дурень!

«Милостивый государь!

Ваше превосходительство!

Дочитайте это письмо, потому что в конце я даю важное предупреждение.

Родина моя, в которой я родился, есть Россия. В этой самой родине я получил при покойной императрице тысячу палок да вдругорядь при его величестве императоре Павле 2500 шпицрутенгов, по приключившейся отлучке из чина вахмистра Нижегородского драгунского полка, каким состо-

ял до 1801 года.

Ваше превосходительство! Рубцы ношу до сей поры на теле, хотя мои годы теперь не молодые! Прошу вас, милостивый государь мой, теперь сообразите, какая является моя родина. Потому что всякий солдат тоже есть человек, и это забывают!

Теперь, по лишении жены и детей, за которую вечно буду мстить называвшейся бывшей родине, что оставалось делать старому солдату-вахмистру?

Господин Секретарь, я пишу теперь к вам в чине Неполного Генерала и Хана и уже с 1802 года признаю, что я родился в Персии и имею мусульманское вероисповедание, хотя не вовсе разучился писать еще по-русски.

Десять лет назад вы выслали меня вон из комнаты при его высочестве Аббасе-Мирзе, при котором я состою полным Генералом, а тогда был ньюкером, что по-русски значит – просто Придворный! При этом обозвали меня на персидском языке, которому я хорошо разумею: каналья, подлец и другие слова. И увели тогда от меня 75 моих человек, молодых казаков сарбазов, которые были глупые и послушались, что вы обещали им, и присягу давали, что будут счастливы, прощенные, есть русский хлеб, и другие слова. Где они счастливы теперь, Ваше превосходительство, Господин Секретарь, в котором месте их счастье? Все теперь знают, где сарбаз Ларин и сарбаз Васильков Меченой, где их счастье. Притом под моей командой состоит целый батальон

бывших русских людей, солдат, которые послушают одного моего свиста и готовы разнести на куски всякого, потому что признают своей родиной Персию, а не Россию.

Два года тому назад мой батальон в одном деле претерпел маленькую неудачу, и пришлось удалиться из Хоя, родины Персии, в крепость Чехри, на нашей границе с турками. Его превосходительство генерал Вельяминов меня захотел известить с моими людьми. Но не довелось пройти сквозь палки опять или сложить голову на плахе, к радости врагов. Хотя я подлец или даже каналья, Ваше превосходительство, но господину генералу Вельяминову не удалось!

Не подумайте, Господин Секретарь, Ваше превосходительство, что пишу я к вам для ругательства. Я в чине полного Генерала, звание Самсон-хан, и я не могу ругаться такими словами.

А я прошу довести до русского императора Николая, что в мир, который вы изволили заключить с нами в Туркменчае, вставлена статья, чтобы возвратить всех русских из Персии. Слов нет, что русских пленных имеете право, но только не персиян, исламского закону, хоть и бывшей родины России.

Тут позабыли нашу оговорку, но прошу довести до русского императора Николая, что нужно думать об оговорке с добровольными пленными, и на это положение сабля навострена и рука готова.

Честь имею, Господин Секретарь!

Ваше превосходительство!

*Самсон-хан,
называемый Самсон Макинцев».*

И сбоку большая, красного цвета, печать, на которой Грибоедов прочел по-персидски: «Самсон, земная звезда».

Самсон Макинцев, вахмистр Нижегородского драгунского полка, с его русским батальоном, сражавшимся против русских войск, был позором Паскевича и Николая. Эти солдаты, с длинными волосами и бородами, в персидских шапках, Самсон с его генеральскими эполетами, быстрыми черными глазами, – это отсиживался в Персии новый Стенька. Стенька опять спознался с персидской княжной, но теперь он нахлобучил остроконечную шапку. Кто скажет слово Самсон-хану? На нем держалась вся Хойская область. Сарбазы убегали, эти разбойники втыкали штыки себе в животы, чтоб не сдаваться бывшей родине, России.

Русские солдаты перебежали к нему сотнями. Их было уже там более трех тысяч человек. Это была шахская гвардия, бегахдыраны, богатыри, гренадеры. Вахмистр писал грамоту Николаю.

Грибоедов заходил по номеру. В соседнем курили, болтали, болтали без конца.

Он вспомнил, как Самсон в шапке с алмазным пером шел перед своим батальоном на персидском смотре и подпевал солдатам:

Солдатская душечка,
Задушевной друг...

Этого унижения он не позабыл.

Самсон Макинцев был с ним всегда вежлив. Только девять лет назад, когда он действительно обругал его при Аббасе-Мирзе канальей и подлецом и велел выйти вон, Самсон криво усмехнулся, зубы блеснули, он покачал головой, сплюнул, но смолчал и тотчас вышел, качаясь на кривых драгунских ногах. К вечеру того дня он напился пьян и пел под окнами Грибоедова:

Солдатская душечка... —

вызывая его на разговор.

Грибоедов не вышел, разговора не принял.

Он был молод тогда и слишком горд. Теперь для него предрассудков не существовало. А о судьбе этих восьмидесяти человек, которых он вывел тому десять лет из Персии, он старался ничего не узнавать. До чего он был молод и глуп! Обещал им полное прощение, говорил о родине и сам верил. И оказался в дураках и обманщиках. И он вспомнил Василькова, «меченого», о котором писал Самсон, солдата, прогнанного сквозь строй в России, больного; он заботился об этом Василькове во время привалов, растирал ему колена ромом, вез на мягкой клади; и вдруг ночью Васильков соскочил с арбы и сказал, что уходит. И он вспомнил лицо солдата

– рябое, белесое. Он больше ничего не знал о его судьбе: верно, его в ту же ночь прикончили персияне. И, может быть, к лучшему. Как потом с ними обходились в Тифлисе! А он вел их в страну млека и меда и говорил им речи, наполеонады.

И, нахмурясь, он швырнул пакет с отвращением.

Как, однако ж, обнаглел этот изменник!

И последняя записочка – от Нессельрода, который назначал ему свидание на завтра, перед балом. Самая короткая из всех.

Все-таки сердце у него стало качаться, как медная тарелка, он вдруг застегнулся на все пуговицы и почувствовал: час пришел.

Он воровато открыл ящик стола и вынул пакет с проектом. Он взламывал печати со своего проекта, как шпион, и взглянул на синие листы с опаской.

Все наступало слишком рано, как всегда наступают важные дни, но медлить более было никак невозможно.

Проект будет принят. Он, всеконечно, перехитрит Нессельрода, и он хорошо понимает императора.

Проект его был обширен, больше Туркменчайского мира. Все было расчислено, и все неопровержимо.

Он хотел быть королем.

12

– Нынче в Петербурге можно очень просто заработать деньги.

– Рази?

– Нынче в Петербурге не то что в старое время, а находятся очень многие образованные люди.

– Рази?

– Нынче, конечно, обращают много больше внимания на одёжу, кто как одет.

– Рази?

Разговор нумерного и Сашки, которые думали, что он уже уехал, был в средней комнате. За все время Сашка из важности говорил только: «разве?» Но потом он говорил «разве?» – уже из любопытства.

А Грибоедов сидел в плаще и слушал. Он было ушел и вернулся тихонько.

– Но нужно очень много нынче внимания. Останавливаются важные бары.

– Рази?

– В прошлом году в десятом номере играли в карты и одного барина полоснули шандалом.

– Рази?

Разговор ему помогал. Невозможно идти сейчас к Несельроду для того, чтобы декламировать.

Если человек задекламирует, дело его пропало.

Он это знал по себе – никто не хотел слушать его стихов для декламации, а в них ведь он весь как на ладони. Так он было хотел начать свое «Горе», но потом стал портить для театра, вставляя фарсы, и все восхитились. Так было должно действовать и с Нессельродом.

– С месяца два будет, у нас даже одна американская барыня разрешилась в пятом номере мальчиком.

– Рази?

Один дипломат сказал: все настоящие бедствия рождаются из боязни мнимых. Этим он хотел определить свое ремесло.

Образовалось как бы тайное братство дипломатов, с общим знаком – улыбкой. Отъединенные, отпавшие от людей, в экстерриториальных, то есть по-русски – внеземных, дворцах, они выработали особые приемы поведения.

Нужно было притворяться обыкновенными людьми, чтобы ловлять людские слабости и создавать комбинации.

Все знали: если Талейран кутит напропалую, задает бал за балом, вокруг дам, – Франция накануне комбинаций. Если Меттерних говорит о своей отставке и о том, что он собирается всецело заняться философией права, – у Австрии есть комбинация.

Дипломаты экстерриториальны, оторваны. Поэтому каждое всedневное человеческое действие превращается в особый обряд. Обыкновенный обед вырос у них до безобразных размеров Обеда.

Как африканские туземцы, в начале XIX века добывшие яд, который называли «кока», и опьянявшиеся им, шагали в бреду через щепочки, потому что они казались им бревнами, – так дипломаты поднимали в своих бокалах не портвейн или мадеру, а Пруссию или Испанию.

– Молодой человек, вы готовите себе печальную старость, – сказал Талейран одному молодому дипломату, который отказался играть в карты.

Как раз в тот день, когда шел Грибоедов к Нессельроду, появилось в «Северной пчеле» краткое известие:

«Новости заграничные. Франция.»

В прошлое воскресенье Его Величество играл в карты с Принцем Леопольдом Кобургским и посланниками, российским и австрийским».

Молодой принц готовил себе приятную старость, а Франция в этот вечер проигрывала России и Австрии. Это была заграничная новость, а не отдел «Нравов». В отделе «Нравов» было совсем другое: «Источник сплетен», подписанный Ф. Б., там был настоящий картеж и настоящий обед, там был Фаддей Булгарин.

Коротенькая записка Нессельрода с просьбой пожаловать за час до бала – была новой комбинацией.

В кабинете Нессельрода Грибоедов оценил место и дислокацию и не сразу приступил к военным действиям.

Место было уютное. Бледно-голубые акварельки в тоненьких рамочках висели на стенках – симметрия леденцов. Домашние портретики императоров и дипломатов, лошадка Николая на литографии Гернера, гравюра Райта, где Николай изображен был на тарелочке с орлами, и Александр, пухлый, с женскими боками, на фоне Петропавловской крепости.

Челюсть Меттерниха тоже виднелась. Место приятное, место уютное, невинное. Это было не очень хорошо.

Он предпочитал несоразмеримо широкий и почти пустой кабинет министерства. Приходилось говорить о товарах, фабриках, капиталах. В этой комнатке никак нельзя себе всего этого представить, бумага остается бумагой.

Нессельрод преклонялся перед словами: депеша и меморандум. Изящно написанный меморандум мог заменить в разных случаях войну, кровь и brouhaha. Это было влияние кабинета, акварелек. Он все пошучивал и поднимал брови, усаживая Грибоедова в неизмеримое кресло.

Дальше. Дальше был выздоровевший Родофиникин.

Это было и так и сяк.

Эта была птица старая, стреляная. Жесткая серебряная голова его не привыкла к дальним размышлениям, но привыкла к поворотам. Он служил со времен Екатерины. Был потом секретарем в Капитуле орденов при Павле и там изучил человеческое вихревание, бывшее политикой. Был при Аустерлице и даже пожил в нем два дня. Когда он читал: «Солнце Аустерлица» – он вспоминал лаковые полы в замке, а если говорили: «День Аустерлица» – он вспоминал утро, чемоданы, повозки, базарную площадь; он убегал в этот день из Аустерлица, малого, скверного городишка. И долго потом разъезжал он с казенными поручениями по Азии, был в Константинополе, привык к военным делам и внезапным смятениям, которые потом оказывались победой или поражением.

Но при Александре он был в тени, азиатские дела были не в моде, а теперь настал его час: было азиатское brouhaha, и Нессельрод без него ни на шаг. Дальних стремлений у него, как и прежде, не было, но было одно тайное: быть исконным русским дворянином, чтоб все забыли греческие звуки его фамилии. Хотел он также приращения имений и еще хотел быть предводителем дворянства, хоть уездным.

Время было неверное, равновесие полетело за борт. Восток, может быть, будет завоеван. Проект мог пройти.

Тотчас как он погрузился в кресла, с двух сторон карлик и раскоряка протянули ему бумаги.

И Нессельрод засмеялся.

Грибоедов поклонился туда и сюда и пробежал глазами. Это были письма Нессельрода и Родофиникина Паскевичу. Он притворился внимательным. Писали о нем.

Письмо Нессельрода:

«Приезд г. Грибоедова и привезенные им доказательства, что мир заключен и трактат подписан, преисполнили радостью сердца всех...»

Нессельрод любил такие слова, как «доказательства» вместо «мир».

«Благодарение Богу Всевышнему, благодарение государю императору, мудро все устроившему... признательность отечества победоносным войскам...»

(– Дальше, дальше.)

«Скажу откровенно вашему сиятельству...» (– Ага.)

«...Что известие о мире получено здесь так кстати, как нельзя более. Оно, без сомнения, произведет удовлетворительное впечатление на внешние наши сношения...»

(– Почему, мол, затянули.)

«Грибоедов награжден соответственно заслугам его, и я уверен, что он будет нам полезен и впредь по делам Персии...» (– Очень нехорошо.)

Он улыбнулся, поклонился и пробежал второй листок, греческий.

«Слов не могу найти довольно выразительных, чтобы описать вашему сиятельству всеобщую радость, которою объята петербургская публика приездом любезнейшего Грибоедова...»

Раскоряке поклон.

«...Слезы врагов тоже, думаю, будут изобильны... Я сам одержим болезнью... Поздравляю душевно с новыми лаврами... Грибоедов поздравлен от самого государя, и на другой день Карл Васильевич привез из дворца указы об ордене и четыре тысячи червонцев, согласно с вашим представлением».

(– Очень хорошо.)

«...Остается довершить дело, чтоб дать ему дело, и то будет».

(– Что будет? То будет. Нехорошо.) Вот как они заласкали его.

Нессельрод смотрел на него, подняв брови, ожидал при-

знательности. Наконец-то он раскусил его. Курьер знал себе цену и требовал надбавки. Нессельрод не был жаден. Свойственник Паскевича – это нужно было принять во внимание. Он знал к тому же персидский язык и нравы, Нессельрод же путал Аракс с Арпачаем.

Все трое сидели и улыбались.

Начал Нессельрод.

– Дорогой господин Грибоедов, вы отдохнули у нас, у вас превосходный вид, – сказал он.

– О да, вам было от чего отдохнуть, не правда ли? (– Они сами набивали цену!)

– И вот мы с т-г Родофиникин все думаем, все думаем, – сказал старший, – о достойном месте для вас. Признаюсь, мы его пока не находим.

(– И очень хорошо, что не находите.)

– Что мое место, дорогой граф!.. Я и так благодетельствован свыше меры. Не место прельщает меня, меня тревожит, как и вас, вопрос о нашей будущности. Не о себе я хочу говорить, но о Востоке.

Грибоедов вынул свой проект. Синий сверток ударил в глаза дипломатов.

Атака началась. Дипломаты притихли. Сверток внушал им уважение.

Туркменчайский трактат – меморандум – Бухарестский трактат – сверток – Нессельрод определил на глаз: сверток был вроде меморандума с приложениями. Он сделал знак

читать и ушел в кресла. Рыбка ушла в глубину.

Грибоедов говорил тихо, любезно и внятно. Он смотрел то на Нессельрода, то на грека.

Сашка проводил дни свои в беспамятстве.

Грибоедов был для него неизбежным злом, когда бывал дома, и был приятен Сашке, когда сидел в карете. Сашка любил качаться на козлах.

У него была великая склонность ко сну.

Сон охватывал его целиком, ловил его на стуле, на диване, в коляске, реже всего на постели. И тогда он зевал страшно, как бы намеренно. Он разевал челюсть, напряжив плечи, и долго не мог разеваться во всю ширь, до природных размеров зевка. Потом, исцеленный зевком, он чувствовал туман во всем теле, как будто его выпарили в бане и долго терли спину и живот мыльной пеной.

Страстью его были зеркала.

Он долго и неподвижно смотрелся в них.

Любил он также переодеваться и сам себя оправдывал тем, что начинал раскладывать и перетряхать барские платья.

Когда Грибоедов ушел и нумерной все свое рассказал, Сашка походил по нумерам. Потом открыл шкаф и снял пылинку с форменного мундира. Пальцами он дошел до глубины шкафа и нащупал костюм, давно облюбованный. Он вынул из шкафа грузинский чекмень и прошелся щеткой.

Потом лениво, точно делая любезность кому-то, Сашка

надел его. Грибоедов был выше Сашки, перехват пришелся ему ниже талии.

Так он стал смотреться в зеркало.

Ему не нравилось, что чекмень был без газырей, с гладкой грудью. Грибоедов почему-то особенно дорожил этой одеждой и никогда не давал Сашке ее чистить.

Тут, у зеркала, налетел на Сашку страшный зевок.

Отряхиваясь и покачивая головой, он опустился на диван и, в чекмене, заснул.

Во сне он видел газыри, ребра и американскую барыню, барыня кричала на нумерного, что он запропастил ее мальчика, которого она родила в пятом номере и положила в шкаф. Нумерной же все сваливал на Сашку.

Перед балом следовало держаться стиля семейного, стиля уютного, растормошить Нессельрода шуткой и кинуть вскользь деловое слово греку.

Грибоедов начал со сравнения:

– Я автор, и ваше превосходительство простит мне отклонение, может быть далекое и не свойственное миру важных дел.

Хорошо. Нессельрод боялся пакета перед балом.

– В бытность мою в Персии я вел такую политику: с торговцем дровами я был вежлив, с торговцем сладостями – нежен, но к торговцам фруктами – суров.

Нессельрод, как опытный шутник, поднял брови и приготовился услышать нечто смешное.

В виду акварелек следовало говорить о сладостях.

– Потому что дрова в Тебризе продаются на вес золота, по фунтам, фруктов в Персии очень много, а сладости я люблю.

– А какие там фрукты? – любознательно спросил Нессельрод.

Эк его – не надо бы о фруктах. Он слишком интересуется фруктами.

– Виноград, но длинный, без косточек, он называется тебризи – сорт превосходный, потом особый лимон.

У Нессельрода свело губы. Он живо вообразил себе этот

лимон.

– Но совершенно сахарный, сладкий, – взглянул на него коллежский советник, – лиму, как они его называют, помегранец, апельсин.

И с опаской глядя на чувствительного руководителя:

– Кислый, – добавил он тихо.

Так он умно, как благодетель, хитрый мальчик, поддразнил руководителей, что карлик решительно развеселился. Неучтивость? Коварство? Милейший господин!

– И я пришел к заключению, что моя домашняя политика правильна и чуть ли не отражает наши принципы.

«Наши принципы» – как это самоуверенно. Но это шутка.

– Я шучу, – сказал коллежский советник, – и заранее прошу в том прощения. Но я наблюдал Восток и старался прилежно следить за мудрою политикой вашего превосходительства.

Да, он знал себе место. Серьезный и вместе почтительный человек, шутливость вовсе не такой порок в молодом человеке, в меру, разумеется.

– ...ибо для государства важен не только воинственный дух.

И это верно. Нессельрод одобрительно качнул головой. Этот родственник Паскевича немного... un peu ideologue¹⁸, но он, кажется, понимает дело и не заносится.

– Для государства важны способы прокормления, доходы

¹⁸ Немного идеолог (*фр.*).

верные и приращение их по мере возрастающих удобств и приятностей жизни.

– Доходы, – насторожился Нессельрод. – Я говорил с министром финансов. Он сказал, что наша Россия именно за последние годы расширяется, вообще разрастается.

Грибоедов любезно улыбнулся.

– Я боюсь, что здесь некоторое увлечение изобилием вещества и средств к его добыванию. Мы с некоторого времени при несметном изобилии хлеба – и в этом его превосходительство министр финансов прав – ничего за него не вручаем.

Нессельрод был озадачен. Это было по финансовой части. Он уже хотел сказать коллежскому советнику, что тут, в сущности, ему придется обратиться по финансовой части со своим проектом, когда тот, почтительно на него взглянув, вдруг остановился.

– Не подумайте, ваше превосходительство, что я хочу утешить вас делами финансовыми. Это имеет прямое отношение к мудрой политике вашего превосходительства.

Нессельрод значительно поднял брови. Его область была отвлеченная, и когда оказывалось, что она соприкасается с финансами, это было приятно и тревожно.

– В северной и средней части нашего государства, – говорил коллежский советник, – просвещение, промышленность и торговля уже развиты.

Все было, конечно, благополучно. Какая-то неприятность

с хлебом была несущественна.

– Мы не одолжены уже иностранцам за их произведения полосы холодной и умеренной.

Как хорошо! Это нужно будет сказать при случае Меттерниху, если он начнет язвить. «Мы не одолжены...» Но верно ли это? И если не нуждаются в иностранцах, какой смысл в существовании министерства иностранных дел?

– Нам недостает, – говорил холодно коллежский советник, – только произведений теплого и жаркого климатов, и мы принуждены заимствовать оные из западной и южной Европы и Средней Азии.

Ага, все-таки недостает чего-то. Этак и лучше.

– Европейская торговля довольно еще выгодна для России...

Конечно, он всегда это утверждал. Нельзя и шагу без Вены ступить. И он не виноват, если все, что творится...

– Но азиатская клонится совершенно не в ее пользу.

Азиатская? Может быть, он этого не отрицает. Вообще, азиатские дела, по правде, сомнительные дела. Он тысячу раз прав, этот коллежский советник. Не стоило начинать это brouhaha по всем причинам. Он-то всегда это чувствовал. Теперь, оказывается, и с торговой стороны...

– Почему? – спросил вдруг коллежский советник.

В самом деле, почему? Нессельрод с любопытством на него поглядел.

– Причины ясны вашим превосходительствам: взыска-

тельность нового начальства...

Нессельрод сморщил брови. Хотя какое же это новое начальство? Да ведь это Паскевич, новоявленный граф! Внимание!

– Мятежи от введения иного порядка и вообще перемены, которым никакой народ добровольно не подчиняется.

Ох уж эти перемены.

– Нужен разбор, досуг и спокойствие.

Нессельрод вздохнул. Нужен, нужен досуг.

– Гром оружия не дает благоденствия стране.

Это его мысли, его мысли. Но нельзя говорить так резко. Он очень еще молод и неопытен, этот, в сущности, рассудительный молодой человек.

– У нас не возникло в Закавказье ни одной фабрики, не процвело ни земледелие, ни садоводство.

Ах, это резко, резко.

– Между тем тифлиские купцы ездят в Лейпциг за товарами, сбывают их дома и в Персии с успехом.

Нессельрод поискал глазами Лейпциг на акварельках. Это был прекрасный город, уютный – не Петербург, он в нем бывал.

– И знаете, – сказал он неожиданно, – там климат совершенно другой...

– В климате все дело, – подтвердил коллежский советник, – естественные произведения разнообразны и богаты. В Закавказье – виноград, шелк, хлопчатая бумага, марена, ко-

шениль, в древности здесь разводили сахарный тростник...

Сахарный тростник, да. Zusketrohr – Rohr – roseau.

И по поводу сахарного тростника вспомнилась руководителю чья-то фраза, кажется Паскаля: le roseau pensant¹⁹, которую с успехом употребил во французской палате граф... на прошлой неделе, – руководитель почесал переносицу, – граф...

И вдруг коллежский советник сказал резко:

– Усилия частных людей останутся бесплодными. Следует соединить в общий состав массу капиталов, создать из Закавказья единое общество производителей-капиталистов. По примеру Англии создать Компанию – Земледельческую, Мануфактурную и Торговую. Новую Российскую Восточную Индию.

– Очень интересно, – сказал вдруг пораженный Нессельрод.

– И тогда европейские народы устремятся наперерыв к Мингрелии и Имеретии – и Россия предложит им те колониальные произведения, которых они ищут на другом полушарии.

Стало тихо. Руководитель сидел серой мышкой. Он выпячивал грудь. Вот уже она предлагает, Россия, свои товары, эти мануфактуры, эти разные... хлопки. И тогда сам герцог Веллингтон, может быть...

– А скажите, пожалуйста, – спросил он не без робости, –

¹⁹ Мыслящий тростник (*фр.*).

не повлияет ли это на наши дружеские... пока, – он посмотрел скорбно, – отношения с Лондоном?

– О, – успокоил его коллежский советник, – это будет мирное торговое соперничество, не более.

Акварельки висели. Во всем мире был мир. Не было воинственного духа. Было мирное соперничество, очень вежливое, Россия получила значение, черт возьми, – Англии! И он скажет герцогу Веллингтону: мирное развитие наших колоний... Боже! Как это не бросалось ранее в глаза: Закавказье – это ведь колония!

Акварельки висели на своих местах, зеленые марины привлекли внимание руководителя.

Да, но это очень... громоздко... пустынно. Это, правда – не война, но это тоже, может быть, отчасти... brouhaha... Льдинки, льдинки и... белые медведи. И с чего здесь начать? Это, вероятно, нужно отправить министру финансов, этот синий пакет. И потом все-таки Паскевич. В самом деле, как же здесь Паскевич? Руководитель остановился глазами на итальянском музыканте, надувшем щеки. Щеки готовы были лопнуть. Картина слегка облупилась.

– Вы говорили, – спросил осторожно Нессельрод, – с Иваном Федоровичем?

Коллежский советник глазом не моргнул.

– С общими начертаниями проекта Иван Федорович знаком. С общими начертаниями – это означало, как говорил Сашка: вглядь ничего-с.

Ага! Так вот он какой, этот свойственник! Это действительно приятный человек. И теперь мимо Паскевича, от имени министерства, можно сунуть императору проект. Превосходная мысль. Проекты в моде... Но не начнется ли все-таки возня с Паскевичем? И где доказательства... гарантии... этого меморандума? И тут он по привычке взглянул вопросительно на Родофиникина. Грек был немного обижен.

С неимоверной живостью он пожал руку Грибоедову.

– Какой талант, любезнейший Александр Сергеевич! Я всегда, всегда говорил дорогому нашему графу.

И руководитель подтвердил кивком: говорил. И Грибоедов сказал холодно, обращаясь к Нессельроду:

– В проекте своем я старался везде держаться образа мыслей почтеннейшего Константина Константиновича. И все, что он скажет, приму с покорностью и удовольствием: опытность его велика, а моя часто недостаточна.

– Ах нет, ах нет, Александр Сергеевич, – живо качал головой Родофиникин, – это все вы, самостоятельно, я здесь ни при чем.

– Когда Иван Федорович узнал, что вы больны, ваше превосходительство, он сказал: Родофиникин болен европейской горячкой, а азиатская болезнь ему впрок. Но болезнь ваша помешала мне ранее...

Не следовало забывать: он был свойственник Паскевичу. Руководитель улыбнулся, Константин Константинович пустил басом:

– Хе-хе-хе...

Старший потер ручки. Приятный разговор, ни передвижения войск, ни осложнений с кабинетами, ни депеш, проект преобразования, интересный, как чтение романа, и вовсе не требующий немедленных действий.

Хотя он слишком громоздок, этот проект. Нужно вообще все это поручить... Может быть, создать комиссию? Племянник жены ходит без дела, ему следовало бы поручить создать такую комиссию, с штатом. Это очень прилично. Жена вчера потребовала место секретаря, но племянник шут, игрок, – комиссия – другое дело.

– Господа, прошу в зал.

Родофиникин положил синий сверток в свой портфель.

Бал. Усагая Нессельродиха. Плоды на серебре. Приезжий иностранец-виртуоз, который отличается необыкновенной быстротой исполнения. Посланники – французский, немецкий, сардинский – рукоплещущие. Их разнообразные, то живые и любезные, то сдержанные жены.

Стол для карт в соседней комнате.

«Молодой человек, не отказывайтесь от карт, вы готовите себе печальную старость». Он и не отказывался, играл.

И равнодушная, в углу, молчаливая тень: доктор Мак-ниль. Синевыбритый, получивший приглашение, как иностранец.

Экстерриториальная колония поднимает в бокалах портвейн, мадеру, Германию, Испанию.

Все пьют здоровье вице-канцлера.

Что такое вице-канцлер? Каковы его обязанности?

Но вице-канцлер как рыба в воде с иностранными послами. Это не Франция, не Германия и не Сардиния, это все знакомые, которые пьют его здоровье. Это знакомые со своими женами.

Он сейчас скажет шутивную речь, и Франция, Германия, Сардиния раскроют рты и будут ему хлопать. Он умеет шутить, карлик, Карл Васильевич, граф, вице-канцлер, любезный русский.

Раскоряка-грек сидит скромный, его не видно. Французская дама рядом с ним скучает.

Он только пускает иногда басом, и то крайне тихо: – Хе-хе.

Меморандумы, депеши и проекты лежат в портфелях.

Только после стола французский посол расскажет анекдот и незаметно перейдет к туркам.

Дамы оживятся, образуют свой капризный кружок, с секретками, и будут шутливо грозить дипломатам.

Потом все затихнет. Дипломаты уведут на ночное заключение своих то живых и любезных, то сдержанных жен.

Последним уйдет незаметный лекарь, имевший интересную беседу с вице-канцлером по поводу ост-индских интересов.

Только ночью, близоруко натолкнувшись на исписанный мелом карточный стол, карлик вспомнит, что он член секретного комитета, и вспомнит, что ему надлежит иметь там завтра мнение:

- 1) что предполагалось;
- 2) что есть;
- 3) что ныне хорошо;
- 4) что оставить нельзя.

Предполагалось, что он знает, что есть и что ныне хорошо. Сила его была в том, что он и понятия об этом не имел.

Ныне хорошо заснуть и не слушать жены.

Ночью карлик проснется и вспомнит о странном проекте

необыкновенного коллежского советника.

От этого проекта останется сахарный тростник, le roseau pensant, да какое-то предостережение английского лекаря, да туманное помышление о герцоге Веллингтоне и генерале Паскевиче, которого было бы не дурно...

– Что – не дурно?

Что такое вице-канцлер, каковы его обязанности? Он повернется на другой бок и с тоской увидит крепкий нос жены. И уснет. Это предполагалось. Это есть. Это ныне хорошо.

Сашка спал в грузинском чекмене на диване. Грибоедов зажег все свечи, стащил его за ноги. Он поглядел в бессмысленные глаза, расхохотался и вдруг обнял его.

– Сашка, друг.

Он тормошил его, щекотал. Потом сказал:

– Пляши, франт-собака! Сашка стоял и качался.

– Пляши, говорят тебе!

Тогда Сашка сделал ручкой, потоптался на месте, покружился разок и проснулся.

– Зови из соседнего номера английского доктора.

Когда лекарь пришел, на столе были уставлены в ряд бутылки и Сашка в грузинском чекмене, снять который Грибоедов ему не позволил, хлопотал с салфеткою в руках. Ему помогал нумерной.

– Значит, вы говорите, что Алаяр-хан меня растерзает, – говорил Грибоедов.

Англичанин пожимал плечами.

– Выпьем за здоровье этого любезного хана, – чокнулся с ним Грибоедов.

Доктор хохотал, щелкал пальцами, пил и наблюдал человека в очках без всякого стеснения.

– Так вы говорите, что Мальта на Средиземном море против англичан – хороший проект покойного императора Пав-

ла?

Англичанин и на это мотнул головой.

– Выпьем за упокой души императора Павла.

Ну что ж, англичанин выпил за покойного императора.

– Как поживает мой друг Самсон-хан?

Доктор пожал плечами и посмотрел на Сашку в длинном чекмене.

– Благодарю вас. Кажется, хорошо. Впрочем, не знаю. Выпили за здоровье Самсона.

Пили необыкновенно быстро, ночь была на исходе.

– А теперь, любезнейший доктор, выпьем за вашу Ост-Индию. Как вы думаете, другой Ост-Индии быть не может?

Доктор поставил стакан на стол.

– Я слишком много пил, мой друг! Я уже оценил ваше гостеприимство.

Он встал и пошел вон из номера.

– Сашка, пляши... Золотой нумерному.

– Ты, голубчик, мне более не нужен.

– Сашка, черт, франт-собака, пляши.

И постепенно, пьяный, с торчащими по вискам волосами, в холодной постели, он начал понимать, кому следует молиться.

Следовало молиться кавказской девочке с тяжелыми глазами, которая сидела на Кавказе и тоже, верно, думала теперь о нем.

Она не думала о нем, она понимала его, она была еще девочка.

Не было Леночки Булгариной, приснилась Катя Телешова – в огромном театре, который должен был рукоплескать ему, автору, и рукоплескал Ацису.

Измен не было, он не предавал Ермолова, не обходил Паскевича; он был прям, добр, прямой ребенок.

Он просил прощения за промахи, за свою косую жизнь, за то, что он ловчится, и черное платье сидит на нем ловко, и он подчиняется платью.

Еще за холод к ней, странную боязнь.

Прощения за то, что он отклонился от первоначального детства.

И за свои преступления.

Он не может прийти к ней как первый встречный, пусть она даст ему угол.

Все, что он нынче делает, все забудется; пусть она утешит

его, скажет, что это правда.

Останется земля, с которой он помирится; опять начнется детство, пускай оно называется старостью.

Будет его страна, вторая родина, труды.

Смолоду бито много, граблено.

Под старость нужно душу спасать.

Он сидел у Кати, и Катя вздыхала.

Так она откровенно вздыхала всей грудью, что не понять ее – значило быть попросту глупцом.

Грибоедов сидел вежливый и ничего не понимал.

– Знаете, Катерина Александровна, у вас очень развилась за последнее время элевация.

Катя бросила вздыхать. Она все-таки была актерка и улыбнулась Грибоедову как критику.

– Вы находите?

– Да, вы решительно теперь приближаетесь к Истоминой. Еще совсем немножко, и, пожалуй, вы будете не хуже ее. В пируэтах.

Все это медленно, голосом знатока.

– Вы находите?

Очень протяжно, уныло и уже без улыбки. И Катя вздохнула.

– Вы теперь ее не узнали бы. Истомина бедная... Она постарела... – И Катя взяла рукой на пол-аршина от бедер: – ...растолстела.

– Да, да, – вежливо согласился Грибоедов, – но элевация у нее прямо непостижима. Пушкин прав – летит, как пух из уст Эола.

– Сейчас-то, конечно, уж она не летит, но правда, была

страсть мила, я не отрицаю, конечно.

Катя говорила с достоинством. Грибоедов кивнул головой.

– Но что в ней нехорошо – так это старые замашки от этого дупеля, Дидло. Прямо так и чувствуется, что вот стоит за кулисами Дидло и хлопает: раз-два-три.

Но ведь и Катя училась у Дидло.

– Ах нет, ах нет, – сказала она, – вот уж, Александр Сергеевич, никогда не соглашусь. Я знаю, что теперь многие его бранят, и правда, если ученица бесталанна, так ужась, как это отзывается, но всегда скажу: хорошая школа.

Молчание.

– Нынче у нас Новицкая очень выдвигается, – Катя шла на мир и шепнула – государь...

– А отчего бы вам, Катерина Александровна, не испробовать себя в комедии? – спросил Грибоедов.

Катя раскрыла рот.

– А зачем мне комедия далась? – спросила она, удивленная.

– Ну, знаете, однако же, – сказал уклончиво Грибоедов, – ведь надоест все плясать. В комедии роли разнообразнее.

– Что ж, я старуха, что плясать больше не могу? Две слезы.

Она их просто вытерла платочком. Потом она подумала и посмотрела на Грибоедова. Он был серьезен и внимателен.

– Я подумаю, – сказала Катя, – может быть, в самом деле, вы правы. Нужно и в комедии попробовать.

Она спрятала платочек.

– Ужась, ужась, вы стали нелюбезны. Ах, не узнаю я вас, Александр, Саша.

– Я очень стал стар, Катерина Александровна. Поцелуй в руку, самый отдаленный.

– Но хотите пройтиться, теперь народное гулянье, может быть забавно?

– Я занята, – сказала Катя, – но, пожалуй, пожалуй, я пройду. Немного запоздаю.

На Адмиралтейском бульваре вырос в несколько дней шаткий, дощатый город. Стояли большие балаганы, между ними – новые улицы, в переулках пар шел от кухмистерских и кондитерских лотков, вдали кричали зазывалы – маленькие балаганы отбивали зрителей у больших. Город еще рос, спешно вколачивались гвозди, мелькали в грязи белые доски, достраивались лавчонки.

По этим дощатым улицам и переулкам медленно, с праздничной опаской, гуляло простонародье в новых сапогах. К вечеру новые бутылочные сапоги размякали и спускались, а они все ходили, жевали струки, с недвижными лицами, степенные.

Вечером тут же, в трактирах, они отогревались водкой и, смотря друг на друга, нехотя, словно по обязанности, орали песни под пестрыми изображениями: медвежьей охоты с красным выстрелом, турецкой ночи с зеленой луной.

Грибоедов с Катей стояли у большого балагана. Катю толкали, и она необычайно метко отбояривалась локотками, но было холодно, и она несколько раз уже говорила жалобно:

– Alexandre...

Но и она была заинтересована.

Дело было в том, что, как только они подошли к балагану, высунулся из-за занавесок огромный красный кулак и пома-

ячил некоторое время. Человека не было видно.

В толпе сказали почтительно:

– Раппо...

То, что был виден только один кулак и этот кулак называли по фамилии, остановило Грибоедова с Катей. Высунулся второй кулак, и первый спрятался. Потом появился опять с железною палкою. Руки завязали палку в узел, бросили железный ком на помост и скрылись. Занавеска раздвинулась, и вместо Раппо выскочил дед с льняной бородой в высокой шляпе с подхватом.

Дед снял шляпу, обернул ее, показал доньшком и спросил:

– В шляпе ничего нет?

Добровольцы крикнули «ничего». В самом деле, в шляпе ничего не было.

– Ну так погодите, – сказал дед, поставил шляпу на перила и пошел за занавески.

Грибоедов с Катей смотрели на шляпу. Шляпа была высокая, поярковая.

Прошло минут пять.

– И очень просто, – говорил купец, – а потом вынет золотые часы с цепочкой.

Один молодец взобрался на перила и потряс шляпу, подвергаясь случайности свалиться. Шляпа была пустая.

Катя уже не просилась у Грибоедова уйти, а смотрела как прикованная на шляпу. Так она в театре ждала своего выхо-

да.

Прошло четверть часа, деда не было.

Катя мерзла и ежилась, она опять попросила:

– Alexandre...

Любопытные проталкивались поближе. Шляпа стояком стояла на перилах.

Минут еще через пять вышел дед. В руках у него ничего не было. Он взял шляпу, осмотрел доньшко, потом покрышку. Была тишина. Купец отер пот со лба. Дед показал шляпу толпе:

– Ничего нет в шляпе?

– Ничего, – все ответили дружно.

Дед заглянул в шляпу.

– Иии... – кто-то подавился нетерпением.

Дед поглядел в доньшко и спокойно сказал:

– А и в сам деле ничего нет.

Высунул язык, посмотрел на всех мальчишескими глазами, поклонился и попятился к занавескам.

Тогда поднялся хохот, равного которому Грибоедов никогда не слышал в комедии.

Старичок мотал головой, молодец стоял с разинутым ртом, из которого ровно несся гром:

– Хыыы.

Катя смеялась. Грибоедов вдруг почувствовал, как глупый хохот засел у него в горле:

– Хыыы...

– Омманул, – пищал старичок и задыхался.

Но толпу тотчас отмело от балагана. Был какой-то конфуз.

Купец говорил тихо, идя от балагана:

– Тальянские фокусники, те всегда вынимают часы с цепочкой. Это очень трудно.

Вокруг качелей толпа была особенно густа. Развевающиеся юбки и равнодушный женский визг вызывали смех.

Под качелями установил свой канат итальянец Кьярини, перенесший сюда свой снаряд из Большого театра. Каждые полчаса он ходил по канату, и мальчишки жадно ждали, когда уж он сорвется и полетит.

Толпа стояла и на Невском проспекте. Грибоедов с Катей взобрались на качели, завертелись в колесе, и Катя с огорчением смотрела на свои ноги. Они были в желтой глине. Платье ее раздулось, и внизу захохотали. Она рассердилась на Грибоедова.

– Александр, – сказала она строго, – этого никто нынче не делает, посмотрите, никого нет.

У человеческих слов всегда странный смысл – про тысячную толпу можно сказать: никого нет. Действительно, никого не было. Людей высшего сословия грязь пугала, потому что они называли ее грязью, простонародье называло ее сыростью. Карет не было видно.

Грибоедов поддерживал Катю не хуже гостинодворского молодца и тоже был недоволен.

Над Катей смеялись, как над своей, простонародье знало:

как ни вертись, женщина останется женщиной, и у актретки развеваются юбки так же, как у горничной девушки.

Но его они просто изучали, наблюдали. Равнодушие их взглядов смущало Грибоедова. Он был для них просто шут гороховый, в своем плаще и шляпе, на качелях.

Одежда! Она не случайна.

Но ведь как бы он выглядел в народном платье, с сапогами бутылками. Впрочем, какое же это народное платье. Поврежденное немцами и барами, с уродливыми складочками. Армяки суздальцев и ростовцев не в пример благороднее и скорее всего напоминают боярские охабни. Попробуй наряди в армяк... Нессельрода.

Русское платье было проклятой загвоздкой. Всего лучше грузинский чекмень.

– Катенька, Катя, – сказал Грибоедов с нежностью и поцеловал Катю.

– Боже! Лучше места не нашли целоваться, – Катя сторела со стыда и радости, как невеста сидельца.

Качели шли все быстрее.

– Александр! Александр! – позвал отчаянный голос сверху.

Грибоедов выгнул голову кверху, но увидеть никого не мог. Голос был Фаддея.

Фаддей был готов выпрыгнуть из люльки и простирал к ним вниз руки, напружившись.

– Упадешь, Фаддей, – крикнул серьезно Грибоедов. Фад-

дей уже был под ними.

– Наблюдаю нравы, – булькнул Фаддей где-то в воздухе. Стало необыкновенно приятно, что Фаддей здесь и Катя...

– Катя, дурочка, – говорил он и гладил ее руку.

Лучше женщины, право, не отыскать. Простая, и молодая, и разнообразная, даже штучки от театральной школы его умиляли. А изменяла она... по доброте.

Все же ему стало неприятно, и он отнял руку от Кати.

Потом они гуляли.

Вдруг кто-то крикнул «караул», и толпа завернулась воронкой внутрь; у маленького человека из крепко стиснутой руки выбивали кошелек, и тотчас, как по команде, на примятую в картузе голову опустились три или четыре кулака.

Воришку держал за шиворот квартальный и устало толкал его тесаком в спину. Грибоедов забыл о Кате и о Фаддее.

Он проталкивался, и люди с раскрытыми ртами молча давали ему дорогу.

Так он очутился в самой воронке.

Двое сидельцев молотили, молча и раскрасневшись, воришку по голове, а он, тоже молча, как бы нарочно, оседал в грязь, и осел бы совсем, если б его не держал за шиворот квартальный. Квартальный держал его правой рукой, а левой редко бил тесаком по спине.

Низ воришкина лица был в красной слякоти, воришка без всякого выражения опускался в грязь.

– Руки прочь, – сказал тихо Грибоедов.

Сидельцы в это время опускали кулаки.

– Руки прочь, дураки, – сказал Грибоедов с особенным спокойствием, которое всегда чувствовал на улице, в толпе.

Сидельцы на него поглядели искоса. Кулаки их опустились.

Тогда Грибоедов, не торопясь, полез в карман и вынул пистолет. Тонкое, длинное дуло поднял он вверх.

Вся толпа заворошилась и подалась, послышался женский визг, не то с качелей, не то из толпы.

– Ты, болван, тесак оставь, – сказал радостно Грибоедов квартальному.

Квартальный уже давно оставил тесак и отдавал левой рукой ему честь.

– Веди, – сказал Грибоедов.

Толпа молчала. Теперь она смотрела неподвижно, не смущаясь, на Грибоедова. Она раздалась, кольцо стало шире, но квартальному с воришкой податься было некуда.

Как обычно, решали те, кто стоял в безопасности, в задних рядах.

– Этот откуда выскочил? – женским голосом прокричал оттуда хлипкий молодец.

– Барин куражится, – сказал ядовитый старичок, приказная строка.

И снова кольцо стало уже вокруг Грибоедова и квартального. Воришка поматывался.

Грибоедов знал: сейчас крикнет кто-нибудь сзади: бей.

Тогда начнется.

Он ничего не говорил, ждал. Тут была десятая минуты, он не хотел действовать раньше. Все решалось не в кабинетах с акварельками, а в жидкой грязи, на бульваре.

Вдруг он медленно направил дуло на одного сидельца.

– Взять, – сказал он квартальному, – двоих, что били.

И сиделец медленно подался назад. Он постоял в кольце и вдруг юркнул в толпу. Люди молчали.

– Держи его! – закричал вдруг старичок-приказный. – Он бил!

– Держи! – кричала толпа.

Сидельца схватили, поволокли; он шел покорно, слегка упираясь.

Грибоедов спрятал пистолет в карман.

Квартальный вел, крепко держа за шивороток, повисшего воришку. Перед ним шли понуро двое сидельцев. Толпа давала им дорогу.

– Первого понапрасну, – сказал, протискиваясь к Грибоедову, седой старичок, приказная строка, – могу свидетельствовать, ваше сиятельство: один бил, один не бил. Нужно записать.

Грибоедов посмотрел на него, не понимая. Когда он прошел сквозь толпу, как источенный нож сквозь черный хлеб, на углу стоял бледный Фаддей и поддерживал Катю. Катя увидела его и вдруг заплакала громко в платочек, Фаддей звал извозчика.

Он был весь потный, и его губы дрожали.

Грибоедов посмотрел внимательно на Катю и сказал Фаддею тихо:

– Отвези ее домой. Успокой. Мне нужно переобуться. Сапоги его были до колен в желтой густой глине.

Родофиникин жал Грибоедову руки с чувством. Лицо у него было доброе.

– Я проект ваш, Александр Сергеевич, читал не токмо с удовольствием, а прямо с удивлением. Сигары? – указал он на сигары. – Чаю? – спросил он проникновенно и вдруг напомним старого зоркого кухмейстера.

Он позвонил в серебряный колокольчик. Вошел длинный холодный лакей.

– Чаю, – сказал Родофиникин надменно.

К чаю лакей подал в бумажных кружевах печенье, сахарные фрукты.

– Планы ваши, могу сказать, м-м, – Родофиникин жевал фрукты и поглядывал на Грибоедова, – более чем остроумны. Прошу отведать финики. Люблю их, верно по фамилии своей. Что поделаешь – грек по деду.

Грибоедов не улыбнулся. Родофиникин смотрел на него подозрительно. Появилась морщинка.

– Хе-хе.

Чиновничьи плоскости: финик с Родоса.

– Да-с, – сказал Родофиникин, как бы покончив с чем-то, – намерения ваши, любезный Александр Сергеевич, меня поразили. Откровенно скажу, вы открыли новый мир.

Он развернул листы. Они уже были подчеркнуты кое-где

вдоль рыхлыми синими чернилами, а на полях появились крестики и красные птички.

Родофиникин бежал глазами и пальцами и наконец ткнул.

– «До сих пор русский заезжий чиновник мечтал только о повышении чина и не заботился о том, что было прежде его, что будет после в том краю, который словно был для него завоеван...»

– Вот, – он потер гладкие желтые руки и покачал головой, – вы это верно усмотрели, у нас мало людей с интересом к службе, есть только честолюбие служебное. Очень справедливо.

Грибоедов посмотрел пронзительно на младшего руководителя.

– Да, там ведь все люди мелкие, – сказал он медленно, – выходцы из России, «кавказские майоры», которых уже есть целое кладбище под Тифлисом. Водворяют безнравственность, берут взятки, а между тем преуспевают. Их там гражданскими кровопийцами зовут. Ждите, Константин Константинович, не мелких бунтов, но газавата.

«Получай, пикуло-человекуло».

– Газавата?

– Священной войны.

Родофиникин проглотил финик.

– Газавата?

– Восстания туземного.

Тогда он спросил, как торговец спрашивает о чужих век-

селях, ему предлагаемых:

– И вы говорите, что Компания...

– ...вовлечет всех туземцев, торгашей даже, нынче не приносящих пользы казне, и даже оставшихся без земель землепашцев.

– Без земель?

– Но ведь, как известно вам, Константин Константинович, есть намерение перевести из Персии десять тысяч человек грузинских армян, торгашей по большей части, и обратить их на земли татар. Стало быть, татар выгнать.

«И еще получай...»

Родофиникин был серьезно озадачен. Он перебирал пальцами и, казалось, забыл о Грибоедове. Потом пожевал губами и вздохнул.

– Чем более вхожу в ваш проект, Александр Сергеевич, тем более убеждаюсь, что это мысль важная. Ведь правда, нельзя же все оружием и оружием. Может получиться... газават.

Он ткнул два раза плоским пальцем, как тупым палашом.

– Земледелие, – начал он пересчитывать, – мореходство, мануфактура... А скажите, – добавил он, – эээ, но ведь есть там... мм... выгодные... предприятия мануфактурные... и без всяких компаний?

– Разумеется, – протянул Грибоедов, – а шелковые плантации? Каstellас, как известно вашему превосходительству, близ Тифлиса построил город шелковый.

– Да, ведь вот, Каstellас, – сказал грек и хитро прищурился, – и без компаний, самолично.

– Только что Каstellас, – ровно сказал Грибоедов, – на краю разорения и все за бесценок готов бы продать. Да и город-то этот более на бумаге существует.

Глаза у Родофиникина сощурились, стали узкими, черными как уголь шелками. Он часто дышал.

– Вы говорите... за бесценок? У меня еще нет донесений.

– Да, – сказал Грибоедов, – но...

– Но?..

– Но каждому частному владельцу угрожает то же. Главная причина: неумение разматывать шелк.

Грек забарабанил пальцами.

– А при Компании? – спросил он со страхом и любопытством и раскрыл рот.

– Компания выпишет из чужих краев рабочих и мастеровых опытных: шелкомотов, прядильщиков...

Родофиникин не слушал его.

– Но какой же род управления выберем мы... выберете вы, любезный Александр Сергеевич, для Компании?

– Во-первых, государь издает акт, вроде закона, о привилегиях – для хозяйственных заведений, для колонизации земляпашцев, устройства фабрик, для...

– Само собой разумеется, – почтительно кивнул Родофиникин.

– Засим складываются капиталы. Родофиникин сложил

ладони.

– Выписываются из чужих краев рабочие и мастеравые...

Родофиникин, округлив ладони, повторил:

– Мастеравые.

– Капиталы ни минуты без движения...

– Ни минуты, – похлопал руками Родофиникин.

– А по окончании привилегии, многолетней... – Грибоедов подчеркнул.

– Да, да, – спросил жадно Родофиникин, – по окончании что же?

– Каждый член Компании отдельно уже вступит в права ее.

– Да... это, это Американские Штаты, – улыбался Родофиникин. – Но если, конечно, вы говорите, капиталы...

Он задохнулся.

– Вернее, Восточная Индия, – сказал равнодушно Грибоедов.

– Ммм, – промычал, рассеянно соглашаясь, Родофиникин и посмотрел на Грибоедова.

Он вдруг очнулся и поерзал.

– Но вот управление, все-таки там будет управление, на каких оно, если можно узнать, условиях...

– Условия? – спросил Грибоедов и выпрямился в креслах.

– Условия, да, – задохнулся Родофиникин. Оттянуть? Оглядеться? Но здесь одна десятая минуты. Он сказал просто, не понижая голоса:

– Должен быть комитет.

– Комитет? – наклонил голову Родофиникин.

– Директор комитета. Помолчали.

– И... круг действий... директора? – спросил тихо Родофиникин.

– Власть? – переспросил Грибоедов.

– Мммм, – замычал Родофиникин.

– Построение крепостей, – сказал Грибоедов.

– Разумеется, – согласился Родофиникин.

– Дипломатические сношения с соседними державами.

Родофиникин перебирал пальцами.

– Право, – сказал, вдруг повышая голос и дыша необыкновенно ровно, Грибоедов, – объявлять войну и двигать войска...

Родофиникин склонил голову перед ним. Он думал. Глаза его бегали. Вот как все легко оказалось в простом и деловом разговоре. В тяжелом кабинете, с унылыми шкафами красного дерева. Что Нессельрод скажет? Но он скажет то, что скажет грек. Император... Но император выпятит грудь, как он выпячивал ее, объявляя войны, которых он боялся и втайне не понимал, зачем их ведет. Паскевич будет членом Компании.

– Его превосходительство главнокомандующий, – спросил сипло Родофиникин, – будет принимать участие в комитете?

– Он будет членом его, – ответил Грибоедов.

Родофиникин опять склонил голову. Может быть, и хорошо, что не директором. И тогда Паскевич... Но тогда конец Паскевичу... Хорошо. Директор? Родофиникин не спрашивал, кто будет директором. Он только поглядел на Грибоедова исподлобья.

– Это очень ново, – сказал он.

Он встал. Встал и Грибоедов. И вдруг Родофиникин – не похлопал, о нет – прикоснулся покровительственно к борту сюртука.

– Я буду говорить с Карлом Васильевичем, – сказал он важно. – А когда ж это именно стало ясно, разорение Каstellаса-то? – наморщил он лоб.

– Для меня – с самого начала, Константин Константинович.

И Грибоедов откланялся.

Спустя полчаса постучался к Родофиникину надменный лакей. Он протянул ему карточку. Карточка была английская: доктор Макниль, член английской миссии в Тебризе.

– Проси, – сказал рассеянно Родофиникин.

Бойтесь тихих людей, которыми овладел гнев, и унылых людей, одержимых удачей. Вот на легкой пролетке едет такой человек, вот его мчат наемные лошади. Радость, похожая на презрение, раздувает его ноздри. Это улыбка самодовольствия.

Внезапная первая радость никому не мешает – это когда еще неизвестно: удача или неудача, это радость действующего.

Но когда важное дело близится к успешному концу, – дела этого более не существует. Только трудно удерживать силу в узком теле, и рот слишком тонок для такой улыбки. Такая улыбка самодовольствия. Она делает человека беззащитным.

Как щекотку, тело его помнит глубокий, медленный поклон старому греку.

Все это легко, торговался же он с самим Аббасом-Мирзой. Без достославного русского войска он завоевывает новые земли.

Удача несет его. Он едет к какому-то генералу обедать. Все его нынче зовут. Все идет прекрасно.

*Предадимся судьбе. Только
в Новом Свете мы можем найти
безопасное прибежище.*

Колумб

С самого приезда подхватили его какие-то генералы и сенаторы, и Настасья Федоровна могла быть спокойна: Александр ничего не проживал в Петербурге, жил как птица небесная.

В особенности возлюбил его генерал Сухозанет, начальник артиллерии гвардейского корпуса. Беспрестанно засылал ему записки, дружеского, хоть и безграмотного свойства, был у него раз в нумерах и вот теперь зазвал на обед.

Новые его знакомцы сидели за большим столом: граф Чернышев, Левашов, князь Долгоруков, князь Белосельский-Белозерский – тесть хозяина, Голенищев-Кутузов – новый с. – петербургский военный генерал-губернатор, граф Опперман и Александр Христофорович Бенкендорф, розовый, улыбающийся.

Кого они чествовали, кому давали обед?

Разве решается этот вопрос, разве задается неприкровенно? Здесь область чувств. Все идет водоворотом, течением – на известном лице появляется довольная улыбка, и Александр Христофорович замечает, что улыбка появилась при

известном имени. Может быть, имя смешное, а может быть, лицо вспомнило об отце-командире. Но улыбка распространяется на Александра Христофоровича, женственная, понимающая, и ямки появляются на розовых щеках. Эти ямки в коридоре ловит взглядом граф Чернышев, товарищ начальника Главного Штаба, и наматывает на черный ус. Звон его шпор становится мелодическим, он достигает ушей генерала Сухозанета.

Улыбка растет, она играет на плодах, на столовом серебре, на оранжевом просвете бутылок.

Так коллежский советник Грибоедов обедает у генерал-адъютанта Сухозанета.

Новые друзья едят и пьют с тем истинным удовольствием, которого нет у сухощавого Нессельрода и тонких дипломатов. Почти все они – люди военные, люди громкой команды и телесных движений. Поэтому отдых у них настоящий отдых, и смех тоже настоящий. Никакого уловления и никаких комбинаций, они хвалят напропалую.

Да и штатские. Например, Долгоруков, князь Василий, шталмейстер с гладкими волосами, долго держит бокал и шуруется, прежде чем чокнуться с коллежским советником. Но, чокнувшись, он говорит просто и ласково, как-то всем существом склоняясь в сторону Грибоедова:

– Не поверите, Александр Сергеевич, как я сыграл на славе нашего Эриванского. Я спрашивал ленту для Беклемишева, долго просил, не давали. Вот в письме к князь Петру Ми-

хайловичу я и написал: Беклемишев, мол, давний друг графу Ивану Федоровичу, и представьте – на другой день, сразу уважили представление.

Он засмеялся радостно над своим ловким ходом.

Ну что ж, он лгал, но лгал как благородный придворный человек, и Грибоедову было весело именно от этого благородства лжи.

Беклемишева, о котором говорил шталмейстер, он не знал, но чувствовал вкус этого довольства, самодовольства и подчинялся. Необыкновенно легко придворная улыбка становилась настоящей.

Просто, свободно, без затей, военные люди любили его, как своего.

– Графа Ивана Федоровича я знаю давно, – сказал старый немец, инженер-генерал Опперман, – у него прекрасные способности именно инженерного свойства. Я его по училищу помню.

– Передайте, Александр Сергеевич, графу Эриванскому, – сказал Сухозанет, дотрагиваясь до борта его фрака, – чтобы он почаще писал старым друзьям, не то я писал, он не отвечает. Я сам воевал, знаю, что некогда, а все пусть напишет хоть два слова.

Сухозанет часто вскакивал с места, все хлопотал – хозяин.

Вокруг Голенищева-Кутузова поднялся хохот, громкий, с переливами, в несколько голосов. Голенищев сам похохатывал.

– Расскажите, расскажите, Павел Васильевич, – всем расскажите, – махал на него рукой Левашов. – Здесь дам нет.

Обед был холостой. Жена Сухозанета была в то время в Москве. Голенищев разводил руками и уклонялся всем корпусом, похохатывал.

– Да я, господа, отчего же. Но только не выдавать. Я здесь ни при чем. Мне это самому рассказывали, я не за свое выдаю.

Он разгладил бровь баки и метнул глазами направо и налево.

– Александр Сергеевич пусть не взыщет. И чур меня графу не выдавать.

– Рассказывайте, чего уж там, – сказал ему пьяный Чернышев.

– Так вот, говорят о графе Иван Федоровиче, – начал Голенищев и снова метнул глазами. Те, кто знал анекдот, опять захохотали, и Голенищев тоже хохотнул.

– Говорят, – сказал он, успокоившись, – что после взятия Эривани стояли в Ихдыре. Селение такое: Ихдыр. Вот и будто бы, – покосился он на Грибоедова, – граф там тост сказал: за здоровье прекрасных эриванок и ихдырок.

Хохот стал всеобщим – это было средоточие всего сегодняшнего обеда, выше веселье не поднималось.

И все пошли чокаться к Грибоедову, как будто это он сказал остроту, хотя острота была казарменная, и вряд ли ее сказал даже Паскевич.

Все это отлично понимали, но все усердно смеялись, потому что острота означала военную славу. Когда генерал входил в славу, должно было передавать его остроты. Если их не было, их выдумывали или пользовались старыми, и все, зная об этом, принимали, однако, остроты за подлинные, потому что иначе это было бы непризнанием славы. Так бывало с Ермоловым, так теперь было с Паскевичем.

И Грибоедов тоже смеялся с военными людьми, хотя острота ему не понравилась.

А потом все, улыбаясь по привычке, стали друг друга оглядывать.

Ясно обозначилась разница между старым инженером Опперманом и Голенищевым с бобровыми баками. Обнаружилось, что Александр Христофорович Бенкендорф несколько свысока слушает, что ему говорит рябой Сухозанет. Возникло ощущение чина.

Грибоедов увидел перед собою старика с красным лицом и густыми седыми усами, на которого ранее не обращал внимания. Это был генерал Депрерадович.

Генерал смотрел на него уже, видимо, долго, и это стало неприятно Грибоедову. Когда старик заметил, что Грибоедов глядит на него, он равнодушно поднял бокал, слегка кивнул Грибоедову и едва прикоснулся к вину.

Он не улыбался.

За столом замешались, стали вставать, чтобы перейти в залу покурить, и генерал подошел к Грибоедову.

– Алексей Петровича видели в Москве? – спросил он просто.

– Видел, – сказал Грибоедов, смотря на проходящих в залу и показывая этим, что нужно проходить и здесь беседовать неудобно.

Генерал, не обращая внимания, спросил тихо:

– С сыном моим не встречались?

Депрерадович был серб, генерал двенадцатого года, сын его был замешан в бунте, но больше на словах, чем в действиях. Теперь он жил в ссылке, на Кавказе, старику удалось отстоять его.

Грибоедов с ним не встречался.

– Засвидетельствуйте мое почтение его сиятельству.

Генерал прошел в залу. На красном лице было спокойствие, презрения или высокомерия на нем никакого не было.

В зале сидели уже свободно, курили чубуки, и Чернышев с Левашовым расстегнули мундиры.

Левашов, маленький, в выпуклом жилете, с веселым лицом, говорил о хозяине дома. Сухозанет в это время отозвал тестя в угол и разводил руками, он оправдывался в чем-то. Толстый старый князь слушал его с заметным принуждением и поглядывал рассеянно на канапе – там сидели старики: Опперман и Депрерадович.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.